

№ 7

АВГУСТ 2008 Г.



ТРОИЦК

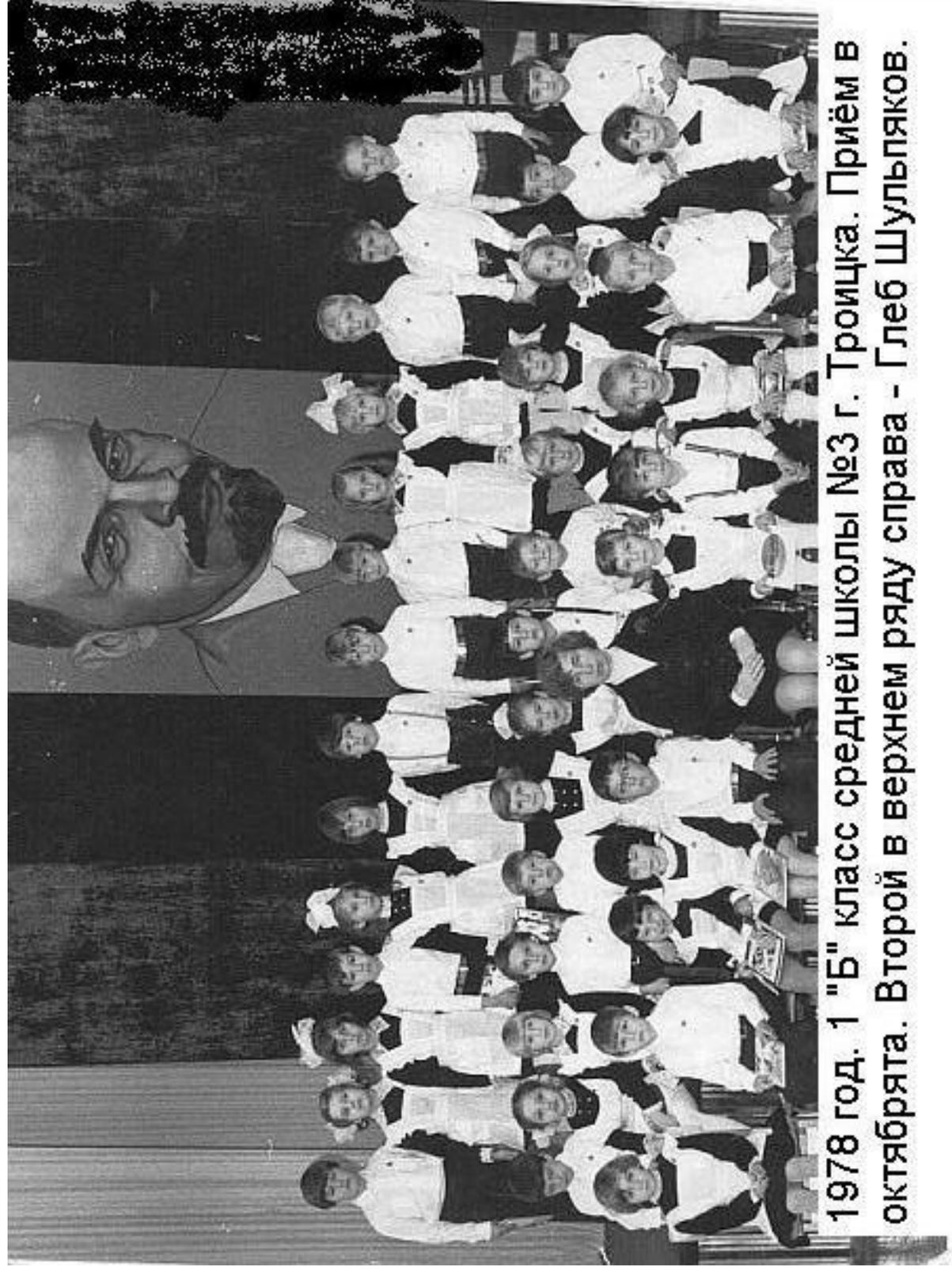


ЛИТЕРАТУРНЫЙ



Глеб Шульпяков

СТИХИ



Средний ряд, четвертая справа автор статей о Г.Шульпякове Ирина Шлионская, его одноклассница.

Глеб ШУЛЬПЯКОВ



СТИХИ

Глеб Шульпяков (сайт www.shulpyakov.ru) – известный поэт, эссеист, прозаик, путешественник, возглавляет Литературно-художественный познавательный журнал тридцатилетних «Новая Юность» (сайт http://magazines.russ.ru/nov_yun/). Адрес редакции: 119072, Москва, Берсеневская набережная, д.20/2, Дом Российской Прессы, "Новая Юность", Тел. 959-05-59).

...Раннее детство провел в г. Троицке...

ИЗ КНИГИ «ЩЕЛЧОК», 2001 г.

CAMDEN TOWN

В.П. и D.W.

Давным-давно, в те времена, когда
в крови бежала кровь, а не вода,
(и даже не крепленое вино):
давным-давно, давным-давно, давным-давно,
когда был жив отец и мать в субботу
готовила рассольник и пельмени –
так вот, давным-давно, в четвертом классе,
я выменял у Голубева Ромки
на серию болгарских марок флоры
журнальчик "Англия" на русском языке
и шел домой, зажав портфель в руке.

А дома я тайком от всех забрался

в чулан, где мы хранили раскладушку,
и там, среди поношенной одежды,
открыл портфель и вытащил журнал
(тем временем рассольник остывал),
а я смотрел волшебные картинки,
где двухэтажный мост висит над речкой,
и красные гвардейские мундиры,
и черные гвардейские папахи,
забыв, что мне давно пора к столу.
Потом я два часа провел в углу.

Но не Биг Бен и царские кафтаны
я вспоминал, разглядывая стенку
(и даже не рекламу "Кока-колы"),
а мальчика на глянцевой обложке,

в очках на позолоченной цепочке,
и белой отутюженной рубашке
и черных лакированных ботинках,
который у решетки с вензелями
стоял и наблюдал, как старый негр
рисует на заплыванном асфальте
у ног прохожих свой автопортрет.

С тех пор прошло примерно двадцать лет.
И вот я в Лондоне – зеваю в галереях,
брожу по кабакам и магазинам,
и как-то утром черт меня заносит
на Camden Town, где у них толкучка,
и там, среди поношенной одежды,
на набережной старого канала,
у бабы в синих стеклах за копейки
я покупаю черные ботинки
и тут же, у решетки с вензелями
завязываю толстые шнурки.

И вдруг – провал, и сердце от тоски
сжимается, и все вокруг плывет,
и что-то про журналчик и мундиры
мелькает в голове, и про рассольник –
а рядом на заплыванном асфальте,
все тот же старый негр в тубетейке
рисует разноцветными мелками
у ног прохожих свой автопортрет
и лондонское небо над решеткой
совсем как на картинах у Констебля
а может быть, у Тернера, клубится.

Я бросил фунт в стаканчик из-под Колы,
взял башмаки и двинул вдоль канала,
а после там, где каменные сходни,
я эти самые английские ботинки
(из бычьей кожи, с толстыми шнурками)
поставил на воду, которая покорно
их понесла куда-то в Копенгаген,
а сам пошел, пути не разбирая,
один в толпе из голубых сорочек,
и целый день по городу шатался.

И вот под вечер, сидя на холме
какого-то классического парка
с бутылкой пива, черного как деготь,
я два часа смотрел на этот город,
похожий на жестянку со шпинатом,
но видел не громадины Ист Энда
и не ночной колпак Святого Павла,
а мальчика с портфелем из клеенки,
который на Сиреневом бульваре
уходит от меня все эти годы,
заваленные корками граната
и фантиками тех времен, когда
в крови бежала кровь, а не вода,
(и даже не крепленое вино).
Давным-давно. Давным-давно.
Давным-давно.

* * *

с черного хода в литературу,
Где канделябры, паркет и булавки.

«Взял себе в жены какую-то дуру» –
«Да, но с глазами любовницы Кафки».

Выучил русский только за то, что
"драли буксиры басы у причала".
"Где-то читал, но не помню, где точно".
Вспомнил под утро, покуда светало.

И от бессонницы, от недосыпа,
от "выходить", "я", "один", "на", "дорога"
утром приснилась сушеная рыба,
очень похожая в профиль на Блока;

схема вагона, где ехала Анна
и разновидность прически у Эммы,
позже пригрезилось дуло нагана
из неоконченной Блоком поэмы

и замелькали поля и сугробы,
и запивали "Московскую" пивом.
"Русский художник стремится в Европу!"
"Да, но кончает, как правило, Склифом".

"Остановите, мне зябко и страшно!
Перепишите последние главы!"
И белоглазая девка в Калашном
с легким акцентом читает "Полтаву"...

* * *

Я о том же, я просто не знаю, с чего мне начать,
вот и медлю, как школьник, оставшийся после уроков:
"Буря мглою...", "Мой дядя..."... А дома тарелка борща
с ободком золотистого жира и веткой укропа
уж остыла, наверно, и ровно в пятнадцать ноль-ноль
"В Петропавловске полночь" объявит по радио диктор,
а за стенкой рояль: ми бемоль, ми бемоль, ми бемоль,
(видно, был не в себе перед смертью глухой композитор),
и засыпано крошками детство, как скатерть стола,
и в ушанке из кролика кровью шумит голова.

Я о том же, я просто не помню, что было со мной:
на скамейках чернели, как ноты, влюбленные пары,
пахло липовой стружкой, когда я без шапки в ночной
выбежал за бутылкой на угол Тверского бульвара.
Открывал, наливал и читал ей чужие стихи,
и белела простынка, и долго с дивана сползала
на паркет... "В Рождество все немного волхвы....",
но потом и она, прихватив однотомник, сбежала.
И стучали бульвары, как лодки, весь март напролет,
и качался бумажный стаканчик, и бился об лед.

Вот и все. "Эй, в ушанке!" – "Вы мне?" – "Передай за проезд!"
"Остановка "Аптека" – "Фонарь..." – "А еще в окулярах..."
И зажав, словно бабочку, мятый счастливый билет,
я качусь на трамвае, качаясь на стыках бульваров
там, где небо пшеничного цвета, как снег под ногой,
и песка что ванили на булках за девять копеек.
"Буря мглою...", "Мой дядя..." ...а вышло, что кто-то дру-
гой,
повзрослев на передней площадке, сошел на тот берег.
И не видно в потемках на том берегу ни черта.
И грохочет трамвай: тра-та-та, тра-та-та, тра-та-та.

* * *

Л.Л.

Вечер, печальный как снег на картине
(поздний Вермеер без подписи, дата
старческим почерком). Посередине
комнаты лампа. В конце снегопада

слышно, как тикают часики.
С полки таращатся классики.

Что нам добавить к этой картине:
жаркое пламя в голландском камине?
пару борзых на медвежьей подстилке?
букли? фестоны? пачули? пастилки?

карту страны на штативе?
клетчатый пол в перспективе?

Врешь, Пал Иваныч, в старинном камине
нет ничего, кроме угля и сажи.
Если быть честным, камина в помине
нет в этом очень печальном пейзаже:

так, что-то вроде квартирки
площадью в две носопырки.

Пьяный хозяин сидит над бумагой,
слушает Наймана, капает влагой
на незаполненный лист.
Вид у него неказист.

И ничего из того, что мы с вами
(кроме Вермеера) нарисовали,
кажется, нету вокруг.
Снег по карнизу тук-тук.

Так что представим себе мизансцену:
окна выходят по-прежнему в стену.
Найман пиликает. Хочется выгть.
Уголь. Без подписи. Скобку закрыть.

"ТАМАНЬ"

Евгению Рейну, с любовью

1.

*Я двадцать лет с ним прожил через стенку
в одной квартире около Фонтанки...*

В шестом часу утра, в буфете Бреста,
где режет по ногам сквозняк вокзальный,
за час до электрички на Варшаву,
я пил коньяк. Я ждал, когда поспеет
мой суп из курицы. Билет и пачка мятых
купюр с гирляндами нулей
топорщились в кармане.
"Еще полста – и все. Пора на поезд.
Бог даст, сегодня к ночи буду в Гданьске,
а там горячая вода, постель и чайки
кричат с утра, и крыши, крыши, крыши..."
Так думал я – и пил свой "Арарат".
"Не занято?" – "Свободно" – "Вот так встреча!"
Он сел, держа в руках лимон и рюмку,
немолодой поэт с немодной шевелюрой.
"Ты? Здесь?" – "Проездом из Берлина.

Решил, пока меняют рельсы, выпить".
Мы виделись в Москве последний раз
лет пять назад! "А ты куда?" – "Не знаю –
ответил я, забыв про все на свете, –
Сначала еду в Гданьск, а там посмотрим..."
"Есть повод выпить" – "Да, за этот город" –
"В котором чудеса еще бывают" –
и он, отставив локоть, важно выпил...
Вокруг небритые крутились мужики,
кассир ворчал, считая медяки,
в окне, качаясь, плыл зеленый поезд
и проводник в малиновом берете
держал флажок, повиснув на подножке...
Потом я ел свой суп.
Потом мы снова пили – за дорогу.
Он говорил, что новая жена
живет в Германии и учится по-русски,
и что души он в ней не чаёт.
"Знаешь,
я тут в журнале прочитал твою статью
о Лермонтове. Ты, конечно, прав
и как поэт он, в общем, не из первых,
но все же надо быть поосторожней:
нельзя, старик, так с классиком, ей-богу".
Потом была посадка на Варшаву
и он махал с московской стороны
вокзала мне рукой.

2.

*Внезапно спутница моя сказала,
не глядя даже в эти буквы:
Я, пожалуй, знаю. На нем написано
– "Ля традиненто", по-итальянски –
черная измена, обдуманное тайное коварство.*

Проснулся я в купе на голой лавке.
В окне тянулись мокрые поля
и редкие, без листьев, тополя
как буквы на письме, клонились вправо.
"Ну как спалось?" – услышал я. Напротив
меня (вот эта да!) в купе сидела
девица двадцати примерно лет:
рубашка красная и кожаные джинсы,
и челка как в каком-то модном фильме.
"Спалось? Как в поезде на лавке" –
ответил я, пытаясь улыбнуться
и отыскать ногой второй ботинок.
"А вы, я вижу, не из наших" – "Не из ваших?"
"Москвич?" – "Ага" – "Куда? В командировку?" –
"Нет, просто путешествую. Бог даст,
сегодня к ночи доберусь до Гданьска,
а там горячая вода, постель..." – "...и чайки?
которые кричат с утра? и крыши?"
"А что такое значит "не из наших"?"
"Ну, не из тех, кто в Польшу с Бреста
мотается с товаром". И она
расхохоталась,
качнув бедром в тугой джинсовой коже
под носом у меня.
"А ты смешной.
Ты помнишь, как садился утром в поезд?"
"А что?" – "И этот твой, патлатый,
с шербатым ртом махал тебе рукой".
И тут она протягивает руку

и волосы мне ласково ерошит,
 (и бедра, бедра в коже перед носом
 качаются!)
 "Послушай-ка, москвич,
 здесь у меня вот в этой желтой сумке
 пять блоков сигарет и литр спирта.
 Будь другом, провези через таможеню.
 С российским паспортом они тебя не тронут
 и в чемодан, конечно, не полезут.
 А я в долгу, увидишь, не останусь
 и мы с тобой в Варшаве погуляем".
 Так говорила мне моя ундина,
 а в окнах плыли мокрые поля
 и редкие, без листьев, тополя
 как буквы на письме,
 клонились вправо.
 И я, дурак, желая эти бедра
 скорей обнять, укладывал уже
 в свой чемодан "Винстон" и грелку спирта.
 Потом была таможеня.
 И шляхтичи полдня шмонали поезд:
 снимали подвесные потолки,
 вытряхивали на пол бурдюки
 и много контрабандного товара
 в то утро отошло к великой Польше.
 Меня же, как ундина обещала,
 они не тронули.

Что дальше? Дальше мокрые поля
 и редкие, без листьев, тополя
 и что-то там про буквы на письме,
 про жар в груди, когда рука в руке,
 щека к щеке... "Давай-ка знаешь, что?
 Давай-ка лучше выпьем" – "Что?" – "В буфете
 есть пиво и еда. А я с утра
 не ела ничего" – "Буфет?" – "В начале
 состава должен быть буфет". И я,
 пообещав, что буду через десять, –
 "нет – через пять" – отправился вперед,
 накинув куртку.
 Я долго пробирался по вагонам
 через мешочников, которые тащили
 остатки табака и водки в Польшу,
 но ни один из них не слышал о буфете.
 Тем временем состав, замедлив ход,
 остановился на каком-то полустанке
 и все они как по команде вышли
 на узенький перрон. "Какого черта!
 Она ведь мне сказала, что теперь
 не будет остановок до Варшавы!".
 И я, предчувствуя неладное, пошел
 обратно по притихшему составу,
 где только сор лежал в купе на полках,
 обитых синим дерматином.
 Там, снаружи
 в толпе мелькнула красная рубашка,
 но поезд тронулся, зачерпывая небо
 окном – и медленно отчалил.

Что дальше? Снова мокрые поля,
 и редкие, без листьев, тополя,
 и что-то о коварстве и любви,
 о клятвах на разбавленной крови...
 Вы скажете – она?... Ну да, она,
 забрав товар, сошла на полустанке,

а вместе с ней исчез мой чемодан,
 где был "Зенит" и плеер с диском Зорна,
 будильник, бритва, номер "Иностранки",
 полно тряпья, одеколон и фляжка
 с остатком коньяка (я, слава богу,
 и деньги в путешествиях, и паспорт,
 всегда ношу с собой в кармане брюк –
 иначе бы пропал я в этой Польше...)

И вот в пустом составе "Брест – Варшава",
 который належке летел по полю
 вдоль черных тополей на горизонте,
 я сел на лавку и захохотал,
 и пять минут, ногой пиная лавку,
 я ржал, пока седая проводница
 не предложила мне поесть и выпить водки.
 И я отдал ей мятые купюры
 с гирляндами нулей, и получил пакет,
 где курица была еще горячей,
 а водка, хоть и была в нос сивухой,
 казалась слаще меда.

3.

*Поскольку ход судьбы непредсказуем,
 то произвол творит мальтийский сокол*

Что было дальше? Я приехал в Гданьск:
 горячая вода, постель и чайки
 с утра, и стрелы черных кранов
 клевали тучи цвета спелой сливы
 на горизонте.
 В форточку врывался
 морской сквозняк, и воздух пах аптечкой,
 и вот тогда я понял, что случилось
 со мной два дня назад:
 "Тамань!"
 Конечно же, "Тамань"! Герой, развязка –
 все как у Лермонтова, только в наше время!
 А я, дурак, сюжет просек не сразу..."
 Так думал я – и пил в кафе "Зубровка".
 Потом гулял вдоль главного канала
 и жалюзи от ветра ближе к ночи
 стучали створками на польском языке.

...А ночью снились мокрые поля,
 и редкие, без листьев, тополя,
 какой-то поезд, длинный и пустой,
 а я один, и никого со мной,
 но кто-то мне гадает по руке.

С тех пор я езжу в Польшу належке.

* * *

В тишайшем городке с печальной лужей
 на площади, где памятник тирану
 с протянутой рукой свалил бы в лучший,
 но лучший мир теперь не по карману,

в старинном городке, где звон бидона,
 и штукатурка шелестит от ветра –
 "Вы, что же, прима?" – "Нет, скорее Дона,
 которая на сцене овдовела".
 Покойника, обутого в штилеты,

по улице заносят в рай ногами:
"Послушайте, вы верите в приметы?"
"Я верю, но не слишком понимаю.."

Трехцветный хлястик плещется на шпиле,
петляет речка, заключая в скобки:
"Ну как вам наш спектакль?" – "Вы забыли,
что мы на "ты" – "Уж очень он короткий".

"Три до театра, восемь до вокзала.
Тебе пора, иди" – "Я не успею".
А после, завернувшись в одеяло,
всю ночь смотрела мне куда-то в шею.

И розовело облако в окошке,
совсем как на картине у Сезанна,
была герань и, кажется, две кошки.
А вечером играла Дону Анну.

И что в дверях она ему сказала?
свой номер телефона? время дня?
Три до театра, восемь до вокзала.
И шепотом: "Не забывай меня".

* * *

Как Суворов пехоту в классический город,
перебив звонарей, я веду в этот стих
мой вокзал, где темно от владимирских бород
и торговку с охапкой убитых гвоздик.

Это жмых на снегу, а не рифма хромает
и язык заплетается после второй.
Пассажиры, уткнувшись в газеты, читают
и забытые вещи уносят домой.

Снова мусор не вывезли и лед не сколот,
снова лодка колотится в сонной груди.
От Москвы до Подольска в такую погоду
никакой пастернак не отыщет пути.

Кода

Где тебя, милый друг, носят черти?
Возвращайся скорее домой:
в нем шинкуют, и квасят, и перчат,
и Суворов готовится в бой.

Мы покурим травы, посудачим –
в доме хохот и стекла звенят –
хорошо в эту осень на даче.
И гвоздику кладут в маринад.

Лес хохочет, опущена роща,
тот же гомон и смех вдалеке.
Все, Борис Леонидович, проще
и теряется в березняке.

* * *

Н.Б.

1.
Третий день в наших краях дует весенний ветер,
снег становится черным, как старые доски.
Выходя из трубы, дым поворачивает на север

и мучительно долго плывет, набирая версты.

Ты заметил, что в марте все кажется слишком длинным
и холодным, и даже окна выглядят уже.
Что это, сосны? Да нет, милый мой, это опять осины.
И пока ждешь автобус успевают замерзнуть лужи.

Отправляйся пешком, мимо овощного рынка,
где торгуют хохлы и грузины, а ночью – крысы.
Захрустит под ногами стекло, но не жаль ботинка:
далеко до лета, но ведь дом все равно – близко.

Дальше дом №3 по Песчаной, поворот направо,
двор, где пахнет котлетами и березовым соком.
Видишь, на скамейке пьет москвовед Панкратов?
Это значит сезон открыт – наливай по полной.

Поболтай с ним о новоделах и двигай дальше.
Скоро станет совсем темно, да и руки мерзнут.
Как лимонная косточка, под окном Наташи
Прорастает месяц. "Кто там?" – "Не поздно?".

На часах девять двадцать, у Наташи гости:
на столе глинтвейн, на тебя смотрят чужие лица.
"Я, наверно, не вовремя" – говоришь, со злости
хлопнув дверью впотьмах. Двадцать один тридцать.

2.

Между тем стемнело, стало больше горящих окон,
абажуры на кухнях – красные, зеленые, голубые.
Разливая чай, женщина придерживает локон
и беззвучно шевелит губами: пироги остыли.

Дальше школа: темная, как портфель из кожи.
Днем здесь очень шумно, а вечером, как на кладбище.
Видишь, на фронтоне высечены какие-то рожи?
Это классики: Пушкин, Горький, Толстой, Радищев.

Три ступеньки с торца, дверь, козырек под снегом –
здесь живет одноглазый сторож, глядит за садом.
В старших классах говорят, что старик с приветом,
в младших классах считают его пиратом...

За коробкой пустырь, его долго обходят с фланга
словно красс-антоний-алкивиад-перикл
гаражи, бытовки, ангары, и торчат как флаги
голубятни, продолжая обход, а точнее – цикл.

Где ты, Ментор, или как там тебя, Арбитр?
Я замерз и промок, я уже не чувствую шеи!
Небо в звездах колетса, как шерстяной свитер
и не видно конца этой мартовской одиссеи...

ГРАНОВСКОГО, 4

*Не родился, не вырос на улице имени Герцена,
не ходил в детский сад по маршруту, которого нет
Я попал сюда в годы, когда начиналась коммерция
и Манеж перекрасили в ярко-оранжевый цвет.*

1.
"И чем же все закончилось?" – "Наш дом
купили то ли шведы, то ли финны,

и наше коммунальное гнездо
за сорок восемь мартовских часов
разворошили".

"А ты?"

"А я тогда свалился с жутким гриппом,
который по Москве гулял в ту пору
(грешили бабки на комету,
которая в тот год прошла так низко,
что желтым шлейфом город наш задела).
Короче, у меня был жар под сорок,
поэтому детали переезда
я не запомнил".

"А твой сосед?" – "Который?" – "Монте-Кристо!"

Что стало с ним?" – "Бедняга воротился
спустя примерно месяц из больницы,
но вместо своей сказочной пещеры
увидел дом, где выставлены окна
и пусто в голых комнатах". –
"Как жаль..."

"Да, жаль... он, говорят, еще полгода
ходил вокруг да около развалин
и все смотрел, смотрел, смотрел...
Спал, говорят, он здесь же, во дворе,
одежда ветхая на нем рвалась и тлела,
и так он свой несчастный век
влачил, ни зверь, ни человек..."

"Как жаль..."

...ну, а потом?" – "Потом прошло сто лет". –
"Не может быть!" – "...и целая страна,
как лодка в шторм, легла на дно пролива". –
"А что же дом?" – "А в нем теперь отель,
и если кто-то помнит о минувшем,
то разве древоточцы в старых стенах,
когда не заменили эти стены".

Мне тридцать, ей семнадцать лет,
и мы идем по Герцена навстречу
своей судьбе – и в рюмочной садимся.
Еще далеко мне до олигарха,
но я коньяк заказываю лучший,
и Стасик нам приносит штоф, лимоны,
конфеты "Мишка", кофе – весь набор, –
и мы сидим в кружочке желтой лампы,
а за окном поблескивают лужи,
и желтый круг становится все уже.

2.

*"Ты жил. Одна заря с другой
шли с интервалом в трое суток.
Когда не дождь, то снег зимой
спешил засыпать промежутки."*

*И по колено в октябре
ты объяснялся новым слогом,
и правил уличный размер,
и переписывал в эклогу..."*

Так я писал на новенькой "Любаве".

*(Была, была такая пишущая машинка.
В те времена она считалась хорошей,
и купить ее было трудно,
поэтому я очень гордился, что она у меня есть)*

Большая комната с лепниной по углам
в старинной многоярусной квартире
досталась мне случайно.

Мой приятель
работал дворником, но будучи женат,
жил у жены (известной потаскухи
с глазами школьницы), а дворницкую, что
ему по всем законам полагалась,
сдавал мне за копейки.

И вот в огромном доме, где когда-то
жил Сеченов, Зелинский и Семашко,
а Павлов, говорят, на чердаке,
терзал своих собак – так вот, в огромном
старинном доме, в комнате над аркой,
где желтая лепнина по углам
крадется –
я жил.

Легенды говорили,
что в этой самой комнате над аркой,
жила Цветаева, когда ее родных
забрали на Лубянку. Говорили,
что здесь она впервые примостила
петлю под потолком – да вот соседи
ее успели вынуть из петли.

Я жил примерно с месяц в этом доме
тайком от всех: от баб, друзей, родни.
Забросил институт, диплом, работу,
спал до обеда, выходил под вечер
в "Гриль-бар" перекусить и выпить пива,
и возвращался, словно опасаясь
оставить комнату пустой.

Я погружался.

И вот, набрав довольно глубины,
когда все звуки полностью исчезли,
я медленно поплыл:

читал ночами напролет, мог часами
смотреть в окно на снег и на деревья,
и даже это самое окно,
купив набор из красок, расписал
под старенький витраж.

(За образец

был взят витраж с обложки журнала

"Наше наследие", 1989 год.

Копия, конечно же, не сохранилась,

а вот оригинал витража

*и по сей день можно увидеть в Питере
на втором этаже здания страхового общества "Россия",
что стоит на Морской –
а тогда еще Гоголя – улице.)*

Но вот что было странно.

С тех самых пор, как я сюда вселился,
в старинной многоярусной квартире
живой души ни разу я не видел.
Порой я слышал звуки голосов,
то женский плач, то тихий смех за стенкой,
и трели телефонных аппаратов
мерещились мне в этой тишине
(хотя наш дом стоял без телефона).

Порой обутые в сандалии шаги
в коленчатом и темном коридоре
чуть слышно пряжкой звякали –
как правило, вздыхал бачок в сортире,
шеколда громыхала, и шаги
стихали за огромным старым шкафом,
стоявшем в коридоре пироскафом.

И все.

А после – тишина,
которая висела, как пустой
рукав пальто.

Но как же в этой самой тишине
спалось! какие сны
мне снились под лепниной!
какие женщины лежали в этих снах,
и облака, какие облака,
подкрашенные наспех синей краской,
как на старинных фотографиях, вплывали
сквозь витражи в мое жилище!

Но вот однажды за полночь, когда
я что-то там читал под желтой лампой,
в мою обитую клеенкой дверь негромко,
но внятно постукали:
ток-ток-ток.

3.

"Привет". – "Ты кто?" – "Здесь спрашиваю я". –
В дверях стоял приземистый, небритый,
с цыганскими глазами, на кривых
коротких ножках – карлик? домовый? –
какой-то парень в тесно-синей майке
и странно мне подмигивал.
"Пить будешь?" – "Буду". – "Вот и хорошо".
И он, открыв мой старый холодильник
(а был он ростом с этот холодильник),
достал полбанки кетчупа и булку.
"Не густо". – "Что поделать". – "Ну, пойдем".
"Пойдем куда?" – "Манда. Искать закуску".
"Не думаю, что наши магазины..."
"А кто тебе сказал про магазины?"
И он махнул рукой: иди за мной.

Я быстро натянул рубаху, свитер,
демисезонные ботинки "Salamander",
отцовское пальто с высокой стойкой
на шелковой подкладке цвета "хаки"
и вышел в коридор.
Он ждал внизу –
ушанка, ватник, валенки в калошах –
и тщательно закрыл на два замка
входную дверь. "Готов?" – "Готов". – "Пошли".
На улице описывал круги
февральский снег, и улица скрипела,
как сетка на кровати, под ногами.

*(Как я потом узнал, именно в эту ночь
начинались знаменитые московские морозы,
которые стояли весь февраль и унесли
жизни 49 человек, преимущественно алкашей,
замерзших прямо на улице.)*

Мы долго с ним петляли в переулках
Станкевича, Белинского и прочих,
не менее известных онанистов,
и он во все дворы свой карлик-нос
совал и что-то там вынюхивал, как кошка,
а я стоял на улице и небо,
обметанное пятнами известки,
звенело от мороза над Москвой.

Мороз кусался. Я хотел домой.

"Иди сюда!" – "Куда?" – "Чего орешь!" –
он зашипел, махнув рукой на дом,
который назывался "Соловьиным".
"Увидишь, кто идет, – кричи!" И он
метнулся кошкой через двор к окну
на первом этаже, присел на снег,
и нож достал, и что-то там затеял
с ножом и сумкой на окне.

А через две
минуты мы бежали что есть духу
по Герцена домой с большой авоськой,
набитой свертками и разными кулками,
которую он срезал на окне.

*(О ту пору в центре Москвы
жили небогато, поэтому очень часто –
за неимением холодильников –
зимой хранили продукты за окном, привязывая
пакеты и сумки к форточкам)*

4.

"Заходи!" –
отгрохотав тремя замками, он открыл
в углу за старым шкафом створку двери,
которую каким-то чудом раньше
я никогда не замечал. И я шагнул
в египетскую тьму его жилища –
и что я тут увидел!
В огромной комнате стоял в углу камин,
и сквозь экран еще мерцали блики.
На черном лакированном паркете
лежала шкура белого медведя,
в простенках пухли вазы из фарфора,
и стол, двуспальный стол (мечта поэта!)
зеленого сукна с тяжелой тумбой
и штучной выкладкой на ящичке мореном,
стоял в алькове.
"Как тебе жилье?"
Еще мне обещали пару этих,
не помню, как их, в общем, пару тряпок
с павлинами на стены... – "Гобеленов..."
"...тогда вот можно справить новоселье.
Ты, кстати, водку запиваешь?"
И он откуда-то достал канистру с пивом.

А на столе тем временем лежали
порозовевшие в тепле цыплячьи грудки,
слезливый астраханский сыр за трешку
с копейками, и сливочного масла,
крестьянского хозяйственный брусок,
да миска непочатая сметаны,

да банка с баклажанными делами,
а может, кабачковыми.

"Концы –
в огонь!" – он швырнул авоську
в камин, который тут же вспыхнул
и поглотил остатки наших дел.
А на плите уже всюду пыхтел
чугунный казанок, и пахло луком,
и чесноком, и старым русским духом.

А дальше, как положено, всю ночь
закусывали курицей тушеной
и "Жигулевским" жадно запивали
"Сибирскую", где тройка с бубенцами
и сорок пять прозрачных оборотов.
Мы, кажется, о чем-то говорили,
потом под утро звякнул телефон,
и он, прикрыв ладонью трубку, долго
шептал, потея, что-то в аппарат,
и странные слова – "титан", "германий",
"металлика" и "восемь к одному" –
мелькали то и дело в разговоре.

"Скажи, ты кто?" – спросил я в пять утра.
Он молча взял четвертую по счету
бутылку водки, снял с нее зубами,
как листик с ветки, жестяную крышку
и в рюмку мне налил.
"Я Монте-Кристо", –
сказал он после паузы. "Что-что?
Ты Монте-Кристо?" – я поддел остатки
тушеной курицы с тарелки. "Да, тот самый..." –
но курицу до рта я не донес –
"...который был невинным осужден
и двадцать лет провел в сырой темнице,
потом бежал, скитался, голодал,
но чудом жив остался и теперь
желает мстить за подлое коварство!"
И он, смахнув слезу, с размаху выпил
и снова влез на свой высокий стул.
Тут я, признаться, несколько струхнул:
не спятил ли мой новый незнакомец
на почве алкоголя.
"Нет, мой д'гуг!" –
он стал вдруг отвратительно картавить. –
"То злой Мег'куцио у Шейлока г'ешил
похитить дочь, п'гек'гасную Миг'анду!"
"Миранда, Монте-Кристо..." – после трех
бутылок, да под утро, мой язык
ворочался с трудом.

А он меж делом
спускается со стула вниз, и лезет
куда-то под кровать, и достает
оттуда ящик, а, вернее, кофр,
обитый кожей, с медными углами,
и, не сводя с меня цыганских глаз,
большую крышку кофра отпирает,
большую крышку кофра поднимает
и говорит:
"Ну что, смотри!"

*Я присел на корточки около ящика
и осторожно, чтобы не потерять равновесия,
заглянул внутрь. Сперва мне показалось, что ящик*

*набит какими-то железными деталями –
штулками, например, или пластинками, –
но когда я взял в руки одну такую пластину,
то понял, что это – позеленевшая медная табличка,
на которой все еще можно было разобрать
витиеватую надпись: "Докторь Зелинский".*

*В том же ящике я обнаружил вот еще что:
медные колокольчики и золотые сигарницы;
рукоятку от пресс-папье и чернильницу,
выполненную в форме турецкой мечети;
набалдашник от палки, шпоры и уздечку;
ножичек для бумаги с костяной ручкой;
серебряные ложки и лопатки с орлами
и вензелями; дверные ручки разных конфигураций;
табакерки, бутоньерки, булавки, клинок
с надписью "Драгунского лейб-гвардии полка
офицеру А.Ф.Корфу от сослуживцев"
и много другой мелочи, назначение которой
мне было попросту неизвестно.
Но больше всего мне понравился
серебряный перстень с трилистником
и черной резьбой, который лежал
на самом дне этого фантастического сундука.*

"И что все это значит?" – Я поднялся,
засунув кулаки поглубже в брюки.
"А это значит, – он захлопнул крышку, –
что я, как Монте-Кристо, получил
в наследство город, что набит металлом:
медь, кобальт, серебро и "волчья пена" –
вольфрам, – и платина, и никель, и титан –
все в этом городе мое, поскольку я..."

"Ты Властелин Колец и Нибелунг!" –
я попытался подыграть ему, но тут
его лицо покрылось мелкой дрожью,
как будто рядом с ним был вивисектор,
и он, дыша в лицо мне перегаром,
свистящим шепотом сказал: "Не знаю, кто
тебя послал и что тебе здесь нужно,
но с этих пор ты знаешь мою тайну,
а стало быть из комнаты моей
живым не выйдешь". Тут стальной клинок
"Драгунского лейб-гвардии полка
А.Ф..." мелькнул в его руках,
но стул качнулся и, взмахнув руками,
он грохнулся на белого медведя
и тотчас захрапел, обнявши морду
медведя, как ребенок.

5.
Очнулся я на собственном диване
в крошечной темноте – как был в штанах
и байковой рубашке. На полу
стоял электрочайник в изголовье,
но чайник был чудовищно пустым.
"Который час?" –
отсохшим языком
едва ворочая, сказал я в темноте
и стал на тумбочке искать часы. Часы
показывали семь. Но семь чего?
Я встал, зажег огонь и огляделся.
Что тут увидел я!

Мой холодильник
был передвинут в качестве заслона
к входной двери. Утог, "Любава", книги –
весь домашний скарб
был водружен на этот холодильник.

Тут я и вспомнил,
что приключилось ночью. Осторожно
убрал у двери баррикаду,
надел ботинки и пальто,
и вышел в коридор.
Точно, дверь была на прежнем месте,
(как раньше я ее не замечал!),
но так же, как и раньше, ничего –
ни свет, ни звук, ни запах – ничего
не выдавало в ней жилища.

Как будто все, что было этой ночью,
приснилось мне во сне.
Я вышел на февральский снег
и потоптался на крыльце
под желтой лампой. Желтый-желтый пар
клубился в тишине, и снег скрипел,
как сетка на кровати.
"Который час, скажите?" –
едва знакомым голосом спросил
я у прохожего. "Скоро восемь", –
ответил он. "Чего? Восемь чего?" –
"Однако", – прохожий,
переложил портфель в другую руку
и шаг ускорил.

Я вышел в переулок. Были в небе
созвездия расставлены, как стулья.
Дымы кручеными веревками тянулись
по небу над обметанной Москвой,
и улица лежала вся в сугробах,
как пряник, с кренделями фонарей.

Мороз кусался. Я пошел быстрее

и целый час шатался в переулках
Станкевича, Белинского и прочих,
не менее известных онанистов.
В конце концов
я очутился в маленьком кафе
у Хлыновского тупика, где черный кофе
варили на песке в копченых турках,
и взял двойной с дешевым бутербродом
за гривенник, и с этим бутербродом,
где сыр вспотел и высох по краям,
пил кофе и глазел себе в окно
на Герцена, которая лежала,
как шуба на снегу, раскинув
рукавами переулков.

6.
"Посторонись!" – "В чем дело? Что случилось?" –
у самого крыльца в моем дворе,
мигая в тишине синюшной лампой,
стояла "Скорая", и двое санитаров
сносили, матерясь, по ледяным
ступенькам чье-то тело на носилках.
"Скажите, ради бога, что случилось?"
"Да вот какой-то фраер со второго
закусывал водяру люминалом", –

шофер курил в открытое окно,
и дым от сигареты закипал
в морозном воздухе.

Я глянул на носилки –
не может быть! – вчерашнее лицо,
и карлик-нос, и черные вихры
на грязной наволочке!
"Он... скажите, он..." –
я с ужасом смотрел на синий рот,
обметанный какой-то белой дрянью.
"Ты что, его сосед?" – "Скажите, он..." –
"Да жив он, жив. Какая-то девчонка
нам позвонила два часа назад
и жизнь ему спасла".
Он докурил,
поднял стекло и развернул газету.

Я медленно забрался на второй
этаж, зашел в квартиру и беззвучно
замкнул входную дверь. "Ну и дела!" –
вертелось в голове. "Ну, Монте-Кристо!" –
шептал я, на ходу снимая шапку
и варежки в прихожей.

В коридоре
за старым шкафом желтая полоска
от лампы по линолеуму шла,
и низкая за шкафом дверь была
на треть открыта. Я остановился,
и, чуть дыша, двери рукой коснулся,
и приоткрыл ее –
что там увидел я!
Все было перевернуто вверх дном –
на черном лакированном паркете
с глубокими царапинами шкура
в каких-то бурых пятнах со следами
сапог лежала; черепки от вазы,
объедки курицы, бутылки, книги, тряпки,
часы и желтые коробки люминала –
все тут и там валялось на полу;
а главное – сундук, точнее, кофр,
тот самый кофр с железными углами
стоял, разинув крышку.

"Ну и ну..." –
я прошептал, оглядывая поле
сражения – и вдруг ее увидел:
на низенькой кровати, там, в алькове,
сидела девушка в каракулевом драпе
и тихо плакала, прижав ко рту платок.
С минуту мы смотрели друг на друга,
и я узнал разрез цыганских глаз,
и челку черную, и тени смуглых скул –
и растерялся, и слегка кивнул,
и дверь тихонько в комнату прикрыл.

Сундук был пуст. Я, кажется, простыл.

7.
"И чем же все закончилось?" – "Наш дом
купили то ли шведы, то ли финны,
и наше коммунальное гнездо

за сорок восемь мартовских часов
разворошили".

"А ты?"

"А я тогда свалился с жутким гриппом,
который по Москве гулял в ту пору.
Короче, у меня был жар под сорок,
поэтому детали переезда
я не запомнил".

Был допит коньяк,
и фантики от шоколадных "Мишек"
скрипели на столе. "Ну что, пойдём?" –
"Сейчас пойдём". – "Скажи мне, ты..." – "Ну что?"
"Ты все это придумал?" – "Я? Конечно". –
"...и не было ни шкуры, ни камина,
ни девушки, ни всех этих сокровищ..."
"Конечно, не было. Какие в наше время
сокровища? камин? медвежья шкура?"
Она поставила на стол пустой бокал,
потом лицо ладонями закрыла,
тряхнула головой – и улыбнулась:
"А я поверила..." И молча закурила.

А я смотрел в окно и повторял:
"Титан... германий... "волчья пена"... никель...
А может быть, и вправду, мне приснился
тот вечер десять лет тому назад,
мороз февральский, небо над Москвой,
обметанное пятнами известки,
и мой сосед, подпольный антиквар,
фарцовщик, сутенер и шизофреник..."
Так думал я – и медленно вращал
на среднем пальце белый перстенок
с трилистником и черною резьбой.

"Пойдём?" – "Куда?" –
"Пойдём ко мне домой".

Москва, апрель-август 2000.

* * *

В Сан-Франциско бродит призрак.
Этот призрак – Ален Гинзберг.
Этот дом похож на айсберг,
он плывет по мостовой.

Я живу в отеле "Ницца".
Я иду, как говорится,
прошвырнуться, прокатиться,
засадив косяк с травой.

У меня в кармане зелень.
На деньгах зеленый Ленин
прячет лысину под букли.
Это цифры? Это буквы.

Я спускаюсь вниз на лифте.
Здрате, здрасте, проходите.
Вы в каком? Я в два ноль восемь.
Я зайду под вечер? Prosim.

Я иду на угол Castro.
Два красивых пидараста
поджимают ягодицы.
Дай мне бог с пути не сбиться!

Я в кино. Какой-то фраер
курит pot в девятом с краю.
Кто-то кончил на галерке.
Это пенки? Это корки.

А в китайском ресторане
мне подали много дряни.
Дрянь блестела словно мыло.
Я не понял – шо це било?

Я карабкаюсь по склонам.
Лес растёт спиной к муссонам.
Это сосны? Это шпилы.
Это Крым. Но в техно-стиле.

Холод. Мрак. Я в чем-то длинном
заправляюсь "Газолином"
в City Lights. Вы Ферлингетти?
Он один теперь на свете.

И ползет туман на холмы.
Перелистывает волны
океан. Стоят ворота.
Это рыбы? Это шпроты.

Я плыву по Сан-Франциско
словно хвостик от огрызка,
выпив рюмку Маргариты.
Это стены? Это стриты

и еще совсем немного
звезд на бороде у Бога,
хлебных крошек в старой шляпе.
Эй вы, небо! Спит на лапе,

и звенит в огромном ухе,
и урчит в голодном брюхе,
и летит над Сан-Франциско
черный ангел – Ален Гинзберг.

* * *

Квартет Шостаковича, № 14. "Вид из окна..."
"Да что вы, ей-богу, опять о московском пейзаже?
Как там, например, в Калифорнии?" – "Там холода
и курево с водкой на гривенник подорожали".

Квартет Шостаковича, № 15. "Давай, наливай".
"Ну наконец-то! Коньяк?" – "Нет, горячую ванну..."
"Послушайте, как вас, на "Ш"... – "А потом можно чай"
"Я ухожу" – "Осторожно там, в области Свана".

А все из-за скрипки, которая спелась с альтом!
Ну и климат, конечно, "грачей этих черная стая"...
Под квартет Шостаковича баба бранится с ментом
и гуляют вороны, брезгливо по снегу шагая.

* * *

Sit on my finger, sing in my ear, O littleblood.
Ted Hughes

Нынче утром я узнал о смерти великого Тэда Хьюза;
значит, подумал я, и он отправился по дренажной вене

Хэмбора. На моем столе стоит непочатая бутылка узо.
Почему? потому что рифма для меня все равно важнее.

Ночью выпал первый снег, и на кухне светло и зябко,
босиком не выйдешь, изо всех щелей так и тянет стужей.
И пока я копаюсь на полке, теплый кофейный запах
делит мир на тот, что внутри и на тот, что всегда снаружи.

"Майский вечер на Холдернесс" Хьюза – вот это чтиво
утром в стужу, да еще после известий о кончине Тэда!
у него там река, расширяясь, несет всякий хлам к заливу,
у меня – три стены, а на четвертой что-то вроде рассвета.

Что, скажи, помогли тебе твой Расин или враль Овидий?
Вот и мне, по всему видать, ты ничем уже не поможешь.
У тебя там совы, шуки и на белой бумаге след, лисий.
У меня до апреля зима, да и после – мороз по коже.

Но, забравшись под одеяло, я засыпаю и вижу лето,
пыльное и высокое, словно крышка платяного шкафа.
Солнце ворочается в пруду и еще не кончилось детство.
И мерцает сквозь сон крапчатая спина карпа

* * *

*Быть может, юноша веселый
в грядущем скажет обо мне.*

Шестьсот двенадцать, два нуля.
"Простите, можно Александра?"
В прихожей шелк и соболя,
и горький запах кориандра.

"Желтеет зимний Петербург!"
(зачеркнуто четыре раза).
"Сырой туман вползает в грудь.
И не дождешься Фортинбраса".

А за окном плывут дымки
и снег хрустит как сторублевка.
Идут вдоль Пряжки мужики.
У них сегодня забастовка.

А тут в спиртовке огонек,
зеленый штоф на занавесках.
"Давай чаевничать, дружок,
И засыпать в глубоких креслах".

Какой ему приснился сон?
Февральский снег на черных шпалах?
Гремит в прихожей телефон,
но пусто, пусто в темных залах.

Закройте двери в кабинет!
Там на столе щенка забыли.
"Весь мир – Варшава. Смысла нет".
И толстый слой холодной пыли.

* * *

написать бы про город, мой город, которого нет,
про ладони твоих площадей в голубиных наколках,
написать бы про то, как бежит под ногами проспект,

и кремлевские звезды горят на рубиновых елках,

написать бы про город, мой город, где пахнет хурмой,
и кабинки под вечер, как ртуть, поднимаются в шахтах,
вам какой, мне последний, и чтобы всю ночь за стеной
радиола мне пела о летчиках и космонавтах,

написать бы про город, мой город под розовым льдом
с леденцами твоих куполов, пересыпанных снегом,
я твои переулки разглажу, как фантик, ногтем
и пройду до кольца незнакомым тебе человеком,

это луковый спас над бульваром, и книжный развал,
где слова на твоих корешках я читал как молитву,
это машенька в мягкой обложке, метель, котлован,
и поддатый казах за лотком открывает поллитру,

наливает и пьет, отвернувшись к великой стене,
за собрание всех сочинений в холодном подъезде,
и уходит, качаясь, в мой город, которого нет,
рукавом собирая побелку вечерних созвездий,

и сидит он на складе, и пьет он всю ночь свой агдам,
а потом засыпает на книгах великих народов,
и во сне перед ним уплывают на юг поезда,
волоча за собой километры порожних вагонов.

"ТБИЛИСУРИ"

– *Помнишь маленького Мамедика?*
– *Помню.*
– *Он умер.*
(Из старого анекдота)

1.
В розовом котловане западного Тбилиси,
на задах проспекта имени Важды Пшавелы
я сидел на веранде, жрал жареные каштаны
и под нос напевал старую грузинскую песню:
*"Чемо цицинателя, даприндав нела нела,
шенма шорит наатебам, дамцвада да манела..."*

"Послушай, как там дальше, я забыл?
что стало с мотыльками?
чем кончилась их связь,
когда она была?" –
"Она спала,
когда он улетел на север
и больше никогда ее не видел" –
"Я так и знал!..
и вообще, давно хотел заметить:
печальные вы тут поете песни..." –
"Запомни: в Грузии печальных песен нет,
поскольку ничего под нашим небом
бесследно не проходит" – "Даже я?" –
каштан упал и медленно катился –
"Конечно" – "Я не верю" – "Сам увидишь".

2.
Мы жили с ним в большом кирпичном доме,
который он купил недавно:
сидели вечерами на веранде,

увитой, как положено, плющом
и виноградом, в сумраке курили,
гоняли чай и что-то обсуждали.
Печальный тамада и пересмешник,
он говорил мне о грузинских рифмах,
я спрашивал его о местных девах,
но шел в постель один, и долго слушал,
как нам на крышу грецкие орехи,
срываясь, падали – и с грохотом катились,
а он еще болтал по телефону
и я сквозь сон на старенькой кушетке
ловил уже знакомые слова:
диди мадлобт, шэ чаглахо, рогорах ар
и засыпал.

3.
Я просыпался за полдень. В окошке
сквозь листья королька мелькали блики,
журчал водой сортир (что означало
наличие воды) – и пахло хлебом,
который выпекали у соседней,
а может, хачапурами.
И снова
садились мы на палубе, остатки
цейлонского закусывая сыром
и влажными орехами с земли,
а ровно в два часа скрипели болты
и в гости к нам Ладо Багратиони,
(последний внук грузинского царя
и просто бож, просравший все на свете),
являлся на халяву покурить
и пообедать.

4.
Прошла уже неделя с той поры,
как я приехал в Грузию. Неделя
как я сидел на каменной веранде
и жрал каштаны, ожидая чуда.
Но вместо чуда царский внук Ладо
в ирландских кабаках на Чавчавадзе
учил меня дешевому нацизму,
а ночью, прося остаток денег
в каком-то казино, мы возвращались
и вновь садились в креслах на веранде,
увитой, как положено, плющом
и виноградом. ...Тлели папиросы,
транзистор пел про снежные заносы,
и дым летел сквозь радиопомехи
к зеленым звездам, крупным, как орехи.
И растворялся.

5.
Итак, прошла неделя с той поры
как я приехал в Грузию. Неделя
как мы на Руставели что ни вечер
шли на прогулку.
Сверкали на проспекте рестораны,
китайские фонарики горели
в каштанах итальянским изумрудом.
Было что-то римское в тепле
осенних площадей, кафе и баров,
Носатые подростки
под ручку шли, прекрасные грузинки
кивали мне на фоне заведений,
и старые мужчины в темном твиде

седой щетиной терлись друг о друга.
Художники в салонах
нам подавали влажные ладони,
сбавляя на картину "Мой чочори",
и "Банщика".
Да, на проспекте Руставели
нам каждый был и друг, и сват.
И говорили в спину мне: "Послушай, брат!
Постой!"

6.
И вот в последний вечер, накануне
Покрова дня, что празднуют в Тбилиси
с печальным предвкушением разлуки,
мы с ним зашли в кафе на Руставели,
где оперный театр с куполами
и заказали сладкий "Тбилисури"
за столиком у пыльного окошка.
"А что Майдан – мы были на Майдане?" –
спросил я после первого бокала,
разглядывая старый календарь,
где улица, ведущая под гору
завалена старинными коврами.
"А разве нет?" – "Не помню" – "Ну тогда
считай, что ты еще в Тбилиси не был".
"И что такое этот твой Майдан?"
"Майдан? Майдан... Узилище, подбрюшье,
старинная шкатулка с потрохами.
Здесь триста лет с армянами на пару
евреи торговали всем на свете
и в синагогах было да мечетях
полным полно купеческого люду,
а нынче грязь да желтые заборы...
Иди за мной, ты сам сейчас увидишь.
Я познакомлю с Эдиком, который
всем заправляет в этих палестинах" –
"Он что, бандит?" – "Ара, зачем бандит?
Азербайджанец. Держит на Майдане
свой магазин старинного тряпья
и собирает подати в округе,
(как это делал до него другой).
Что говорить? Давай, иди за мной!
Скорей!"

7.
Мощеный переулочек в тополях
петлял среди облупленных комодов
грузинского модерна. За Курой
вставала, как чертеж с листа, Метехи,
а с этой стороны лежала площадь,
обсаженная пыльными стволами,
которую без карты не заметишь,
и в воздухе отчетливо, как в школе,
пахло серой.

8.
"Смотри-ка, ну!" – он ткнул налево пальцем
и я увидел низенький домишко
с верандой по периметру фасада,
где старое цветастое тряпье
висело тут и там на желтых стенах.
"Ара, пошли, – зайдем к Эльдару в гости".
"Он, что же, ждет нас?" –
"Слушай, здесь в Тбилиси
со мной тебе любая дверь открыта".

"И эта тоже?" – "Да, и эта тоже.
Гомар джоба, Эльдар, рогорах ар?"
И я, вдыхая серный перегар,
зашел под крышу.

9.

*"Шени деда мовтхан, ше чаглахо!
боди вико, набичваро! Ше трако!
Ше бозо! ше хлео! ше мутело!
Пидарастис газдило!"* –
прижав к щеке пригоршню с телефоном
он крыл кого-то матом прямо в трубку
и пот блестел на лбу под козырьком
его бейсбольной кепки.
"Может мы
не вовремя?" – я дернул за рукав,
но Эдик уже выключил мобилу –
"Котэ, рогорах ар!" – они обнялись
и мы втроем уселись под коврами,
похожими на карточный
рисунок.
Он тут же стал рассказывать о чем-то,
ругаясь и грозя кому-то пальцем,
и спутник мой в ответ печально цокал,
а я сидел и слушал как шумела
над головой столетняя помела
с горы Давида.

10.

"Ты понял, что случилось?" – наконец
он вспомнил обо мне и повернулся.
В ответ я, как дурак, пожал плечами –
«Эти пидарасы его чуть не убили!»
Я посмотрел на Эдика, который
во все лицо расплылся
в засахаренной, как безе, улыбке
и показал мне шрам над левым ухом,
сожженный по краям слоями йода.
"Аллах – спаситель моего народа!"
И кепку натянул.

11.

История, которая случилась,
была проста: Эльдар два дня назад
единственную дочку выдал замуж
и весь Майдан, как водится на свадьбах,
гулял всю ночь.
А утром на участок,
где строился соседский дом под крышу,
пришла бригада и взялась за дело.
Продрав глаза, Эльдар в одних трусах
пошел их крыть с порога матом
и все бы ничего,
да на беду случился тут Муса,
(пацан на побегушках при конторе),
и черт мальчишку дернул на родном –
не на грузинском, на азербайджанском –
хозяина окликнуть.
Те, поняв,
что их послал какой-то грязный азербайджанец
спустились, как мартышки, со стропил
и тут же, на пороге, разводным
ключом Эльдару въехали в затылок,
а после, успокоившись, вернулись
на стройку.

Но не тут-то было. На эдиковы крики
из всех щелей Майдана, словно крысы,
сбегается орава оборванцев
в засаленном спортивном трикотаже
и этих бестолковых работяг
до полусмерти лупит.
А после также быстро исчезает.
Только Эдик с треснувшей башкой
лежит, как Иов, у стены
и ждет, когда его найдут менты.

12.

"Но разве этих самых работяг..." –
"...их нанимали в селах
поэтому, конечно же, никто
не знал, кого..." –
"Дорогие гости!
Прошу, прошу ко мне в мой дом! Муса,
подай нам в лавку чай, лаваш и фрукты" –
"И папиросы!" –
"Да, и папиросы".
Тут юноша возник в дверном проеме
и глаз не поднимая на Эльдара
о чем-то быстро с ним заговорил,
кивая подбородком на Метехи
и на карман.
"Я все сказал, Муса" –
отрезал тот. "И не забудь бензин!"
Прошу вас, господа, в мой магазин
"Мамед-Заде!"

13.

Он отодвинул полог на стене
и мы спустились вниз, где пахло медью,
дубленой кожей, и какой-то снедью,
и сыростью.
...На глинобитных стенах
поблекшие портреты Руставели
и старые эстампы Атаатюрка
висели вперемешку с образами.
Лежали на скамьях папахи, латы,
монисто и бухарские халаты,
чернильницы и царские погоны,
афиши Бурлюка и ремингтоны,
журналы "ARS", "Медея", "Орион",
испуганный и пыльный патефон,
но главное – ковры. Ковры!
Вдоль стен,
как русские блины, неровной стопкой
лежали домотканые рулоны
старинных мастеров ценой в две тыщи,
а может быть, и более,
долларов.
Здесь было все: накидки, покрывала,
килимы для невест и челноков,
цветастые чехлы от сундуков,
дерюги и настенные ковры
турецких мастеров из Анкары
и даже гобелен "Товарищ Сталин
приветствует рабочих Цинандала
на празднике Труда"

14.

Тем временем тот юноша, Муса,
принес лимон и чай, лаваш и сахар.

На столик мозаичный папиросы
легли – и вот уже по кругу
пошел косяк, и наши голоса,
приглушенные стопками килимов,
со сладким дымом наверх поднимались
и где-то там, под потолком, мешались,
и затухали...

15.

"Кавказ – ковер: он сшит из лоскутов,
и не было прочней ковра и краше
во все века на всем восточном свете!" –
втолковывал мне между делом Эдик.
"И что же стало нынче с этим чудом?" –
"Ковер давно пошел на лоскуты!
от старого Кавказа, что осталось,
осталось здесь, у Эдика в подвале,
где лучшие во всем восточном мире
ковры хранят легенды о былом.
Муса! Ты где? Достань-ка нам ковер
да расстели!"...

16.

"Вот это цвет! Смотри-ка, что за цвет!" –
"Кармин?" – "Кармин! Из самок кошенили!" –
Да что кармин! Вот персиковый лист!
дрок, резеда и грецкие орехи,
сок шелковицы, липа, львиный зев,
лишайник, целомудренник и мята –
все в дело шло у старых мастеров.
Муса! Ты где? Готов ли чай?" –
"Готов..."

17.

Я докурил, поставил чашку с чаем,
снял туфли и улегся на колючий
узор ковра, где лозы винограда
сплетались в головах с листом граната,
и по рисунку медленно рукой
провел, потом еще, и
– боже мой! –
мне показалось, что узор ковровый
ожил в руках, что листья винограда
зашевелились и зашелестели,
а темная каморка на Майдане
заполнилась кармином и лазурью,
и поплыла как маленький фонарик,
качаясь на волнах грузинской речи
туда, где холмы Грузии, сливаясь,
и небо в крупных и зеленых звездах –
и растворилась...

18.

*"Теперь ты понимаешь, почему
невеста накануне жениху
дарила не колечко, а ковер..."
"...узор души, любви моей узор..."
"Как мотылек в прозрачной паутине,
ты потерял покой, но взял взамен..."
"Узор души, любви прозрачный плен
и пыл..."*

19.

"Вот так всегда у них, азербайджанцев:
едят на серебре, а гадят в грязном

сортире, из дерьма не вылезая" –
он хлопнул дверью черного сарая,
смердевшего азотом за версту,
два раза повернул латунный ключик
и мы вернулись в дом, где наш хозяин
помятые купюры за конторкой
считал, стирая пот со лба рукой.
Потом на посошок пошел второй –
отборных шишек из Афганистана –
он что-то говорил нам из Корана,
потом в дверях, как водится, прощались,
менялись адресами, улыбались,
и только за полночь на свежий воздух вышли,
и дух перевели.

А на дворе!

блестела словно соль на топоре
цепочка звезд, качался строй стволов,
в окошке бился рой из мотыльков
и лопасти теней месили площадь
как тесто...

20.

*"...чей слышу голос я над головой?
что за тени бродят меж звездами?" –
"то грешники с пустыми бурдюками
скитаются по небу
и нет покоя душам их, пока
вина из праведных кувшинов
не соберут в пустые бурдюки..."
"...о том, как пляшут в небе огоньки,
и как тепло становится внутри..."
"...смотри и слушай, слушай и смотри..."*

21.

по улице, где мокрая брусчатка
блестела, словно рыба на поддоне,
мы шли куда-то в гору, и веранды
вставали, зажигая перед нами
бумажные фонарики под крышей.
Мы заходили в темные подъезды,
скрипели половицами шербатовых
и узких, как запястье, переходов,
пропахших керосином и петрушкой,
где черные горшки и сковородки,
и никого на раскаленных кухнях,
и лишь подростки в черном трикотаже
играют в подкидного при свечах,
а больше ни одной живой души
во всем Тбилиси!

22.

И снова мы куда-то шли под горку,
а после поднимались по ступенькам
и старый банщик в синих панталонах
бросал нам полотенце и сандалии
и мы, раздевшись, ощупью входили
под своды старых бань, в туман и слякоть,
где серые мужские силуэты
с миндальными плодами гениталий
бродили, словно тени, меж колонн
и пахла серой липкая водица.
Я на топчан из мрамора взбирался
и в хлопьях пара мокрое лицо
с огромными усами надо мной
склонялось, и по телу шуровала

не зная стыда мочалка с мылом,
а я лежал и видел сквозь окошко
под куполом старинной серной бани,
что ночь идет на убыль и что месяц
белеет словно ломтик сулугуни
на синем блюде неба над Тбилиси,
как на картинке.

23.

Вернулись мы под утро.
На веранде
блестел кухонный стол, где две улитки
пересекали мокрую клеенку.
Отгрохотал железный умывальник,
вещи были сложены в пакеты,
когда в последний раз мы с ним уселись
на каменной веранде в старых креслах
и молча пили чай.
В шестом часу
распугивая розовых скворцов
к воротам подкатил "Москвич" помятый,
в багажник были брошены пакеты
и мы помчались вниз по серпантину
над котлованом спящего Тбилиси,
где черная стамеска Церетели
мелькнула под ногами – и исчезла
за поворотом.

24.

А два часа спустя в пустом салоне,
когда "Ту-104" дал прощальный
в зеленом небе круг над котлованом,
я вдруг в иллюминаторе увидел
огромный столб коричневого дыма,
который поднимался над Тбилиси.
"Скажите, что за дым в такое время?" –
спросил я стюардессу в черном платье.
"Пожар" – "Пожар?!" – "Сказали, этой ночью
сгорела чья-то лавка на Майдане" –
"Не может быть!" – "Окурки или лампа."
У нас такое часто тут бывает,
особенно, когда живем без света".
Она поставила стакан и посмотрела
в иллюминатор.
"Что же, что же, что же..." –
"Да ничего. Хозяин этой лавки
был найден мертвым в туалете.
Как он туда попал и что там делал
в шестом часу – никто не знает.
Но дверь была снаружи заперта,
а стало быть..." –

"Там был еще Муса!
Мальчишка на посылках!
Что стало с ним?" –
"Какой еще мальчишка?" –
она поправила на шее синий галстук
и строго посмотрела сверху.
"Нет. Ничего. Спасибо. Нет. Простите" –

"Вы курите?" – "Нет-нет" – "Тогда курите".

.....
*Уважаемые пассажиры!
Наш самолет набрал необходимую высоту.
Теперь вы можете курить и пользоваться туалетом.
Ожидаемое прибытие в аэропорт Внуково –
девять часов двадцать минут по московскому времени.
В Москве дождь, средняя температура ноль минус один
градус.
За время нашего полета вам предложат горячий завтрак,
а также широкий выбор товаров беспошлинной торговли:
украшения и сувениры, алкогольные напитки и сигареты.
Спасибо за внимание".*
.....

25.

А я сидел один в хвосте салона
и глядя на заснеженные склоны
не знал, что делать: радоваться? плакать?
жалеть и если да – о чем? кого?
и что за роль во всем этом спектакле
(а может быть во всем этом узоре?)
была моей? и вообще – была?

Тем временем пропал из-под крыла
хребет Кавказа, плоская равнина
раскинулась внизу до горизонта,
размытого осенними дождями,
и было как-то странно на душе –
легко? прозрачно? холодно? печально?
как в песенке, которую когда-то
сто лет назад в какой-то прошлой жизни
я напевал над розовым Тбилиси,
грузинских слов почти не разбирая:

*"Чемо ццициатела, даприндав нела нела,
шенма шорит наатебам, дамицада да манела..."*

Ноябрь, 2000 – апрель, 2001

ИЗ КНИГИ СТИХОТВОРЕНИЙ «ЖЕЛУДЬ», 2007 г.

«Желудь» – вторая книга стихотворений поэта. В нее вошли как хорошо известные читателю стихи и поэмы, так и совсем новые, составившие первую часть книги. Поэзия Шульпякова прошла испытание классическими размерами русского стиха – и стиха свободного, европейского.

Перед читателем попытка соединить роман и лирику, повествование и озарение. Это стихи, которые ведут вас по закоулкам городов мира – и незаметно приводят в лабиринты души и разума. В стихотворениях нередко возникает образ восточного базара, роскошного и жестокого, где легко заблудиться и стать очарованным пленником запахов, красок и форм, которыми так богата поэзия Глеба Шутьпякова.

*

невысокий мужчина в очках с бородой
на чужом языке у меня под луной
раскрывает, как рыба, немые слова,
я не сплю, ты не спишь, и гудит голова –
значит, что-то и вправду случилось со мной,
пела птичка на ветке, да стала совой,
на своем языке что-то тихо бубнит
и летит в темноте сквозь густой алфавит

*

в зябких мечетях души бормочет
голос, который не слышно толком,
красный над городом кружит кочет
и притворяется серым волком –
сколько еще мне бойниц и башен?
улиц-ключей на крюках базара?
город ночной бородой погашен
и превращается в минотавра

*

как долго я на белой книге спал,
и книга по слогам меня читала,
а розовый скворец вино клевал,
ему вина всегда бывает мало –
как сладко, проникая между строк,
ловить ее некнижное течение,
пока во тьме земли копает крот,
мой город-крот, темно его значенье

*

мокрый флаг на великой стене,
своры чаек срываются с неба:
я их видел когда-то во сне,
а теперь очищаю от снега,
на босфоре метель, и суда
голосят в темноте, как цыгане, –
золотую цепочку со дна
заиграли в портовом шалмане,
и бренчит она там в тишине
побелевших от снега тюрбанов
по душе, позабывшей о сне
в этой каменной роще тюльпанов

*

...немногих слов на лентах языка,
но слишком неразборчива рука,
и древо опускается во тьму,
затем что непостижная уму
из тысячи невидимых ключей
сплетается во тьме среди корней
и новый намывает алфавит, –
ручей петляет, дерево горит

*

когда не останется больше причин,
я выйду в сугробы ночного проспекта,
где плавают голые рыбы витрин
и спит молоко в треугольных пакетах, –
в начале начал, где звенит чернозем,
я буду из греков обратно в варяги,
и женщина в белом халате подъем
сыграет на серой, как небо, бумаге

*

на дне морском колючий ветер
гоняет рваные пакеты,
а где-то в небе крутит вентиль
жилец туманной андромеды,
и дождь стучит над мертвым морем,
соленый дождь в пустыне света,
как будто щелкает затвором
создатель третьего завета,
но стрелы падают сквозь тучи,
не достигая колыбели,
по-колыбельному певучи,
неотличимые от цели

*

низко стоят над Москвой облака,
сквозь облака ледяного валька
стук раздается в сырой темноте –
всадники с гнездами на бороде
едут по улицам, свищут в рожок,
и покрывается пленкой зрачок,
птичьим пером обрастает рука,
в белом зрачке облака, облака

*

А.К.

какой-нибудь полузабытый мотив
на старом базаре, и сердце разбито,
а в небе качается белый налив,
и тянется вдоль переулка ракета, –
какой-нибудь малознакомый квартал,
где снежную бабу катали из глины –
я знаю! – там желудь за шкафом лежал,
а мимо несли бельевые корзины,
их ставили в небо одну за другой,
и двигались простыни над головой

*

эта музыка в нас, как вода подо льдом
безымянной реки, уходящей винтом
сквозь ворованный воздух в сады облаков,
и горит сухостой вдоль ее берегов,
а потом на земле остывает зола –

эта музыка в нас, как дерсу узала,
незнакомой породы слова за щекой,—
что ты мелешь, старик!
я иду за тобой

*

Афанасию Мамедову

1.
«Алла-алла!» —
по черным веткам
крепостных кипарисов каспийский ветер
шелестит, налетая на зимний город.
«Алла-алла!» —
музейный сторож,
старый бакинец, пальто в побелке,
перебирает ключи, как рыбу
перед базаром. Он отворяет
двери в гробницу, но сам не входит.
У рассеченного кипариса
ждет, поднимая ладони к небу.

Я прикрыл створку и остался один
в голых стенах. Посреди sklepa
застыли семь каменных надгробий.
Они были похожи на лодки
(или вагонетки), вмерзшие
в холодный известняк.
Кто лежал под этими лодками?
Когда отправились в путь?
Несколько строк куфической вязью —
вот и все, что от них осталось:

*«Величайшего шаха поэт придворный,
оды писавший, певший гимны,
ныне печальный я стих слагаю.
В год восемьсот девяностый хиджры
умер Халиллуалла!
Под этим
камнем лежат его прах и кости».*

Кто бы узнал о тебе, скажи мне,
князь Апшерона, имевший земли
от Шемахи до Шеки и дальше?
Кабы не строчка на камне, ныне
кто бы с тобой перемолвил слово?
Как ни ложись ты, каким узором
ни покрывай на руках запястья,
прах отличает от пыли время.
Но и оно проходит.

2.
На третий день мы решили
поехать за город, в сторону Баилова.
Я слышал, там еще сохранились
нефтяные вышки братьев Нобель,
и мне почему-то хотелось их видеть.
День стоял погожий —
когда море сливается с небом,
за два ширвана таксист в ушанке,
в прошлом московский инженер-химик,
подбросил нас на холм по трассе
и высадил подле большой мечети.

Эту мечеть построили недавно,
она лоснилась, как эклер,
на фоне портовых кранов.
Обмотав голову платком от ветра,
ты осталась у парапета
и смотрела вниз на слепое море.

Я же полез по сыпучему склону,
где лежал террасами старый погост,
и чем выше я забирался, тем меньше
становился твой силуэт; тем старше
казались камни; тем больше
сухой травы в головах кустилось.
Какие-то норы и дыры зияли в земле,
и просто обломки могильных склепов:
все перемешалось наверху. Ничего
не разобрать — только воздух
ревет и грохочет в ушах все время.
... Так они и лежали,
продуваемые гирканскими ветрами:
пятки наружу, без имени-отчества,
в своих неудобных дырявых норах,
а ржавые башни братьев Нобель
все кивали и кивали
головами.

И тогда я подумал: умру, пусть
крошится камень и пятки мерзнут,
пусть выдувает слова на плитах
ветер — или гоняет мусор —
буду ворочаться с боку на бок,
то лицом на восток, то лицом на север,
и повторять на чужом наречье:
«Алла-алла!» —
по ночам пересчитывая
качалки.

ЗАПАХ ВИШНИ

Моим родителям

1.
«Мне нужно выговориться, вот что...»
(это чужая, не моя строчка).
Прошло уже — сколько? — почти полгода:
лето, осень, вот и февраль проходит,
а я все никак не могу ни строчки.
Каждое утро собираю свои бумажки,
выхожу на кухню, к плите поближе,
и смотрю за окно, где на белом фоне
носится рыжий соседский пудель.

Итак, этим летом я жил на даче
(дача была не моя, чужая —
друзья разрешили пожить немного).
В Москве этим летом пахло гарью —
где-то в округе горел торфяник.
Даже в метро голубая дымка!

А тут полчаса по Казанской
железнодорожной дороге —
и ты на веранде: глядишь, как солнце
бьется весь вечер в еловых лапах.

Утром рынок: говядина и картофель,

помидоры, арбуз, и на вечер водки.
А потом на матрасе листал журналы –
«Юность» листал, «Огонек», «Ровесник»,
когда же смеркалось, ставил мясо,
резал овощи, вынимал из воды бутылку –
и устраивал пир.

В это лето на даче я сочинял пьесу
(это была чужая, не моя идея –
написать пьесу; один театр
заказал мне драму из прошлой жизни).
Классика жанра: любовь и море.
И чтобы ружье под конец стреляло.
Тогда, что ни день, полистав журналы,
я поднимался наверх, в мансарду.

Открывал машину и всех героев
выпускал на волю: поболтать, побегать.
Знаете, как бывает, если пишешь пьесу?
Дашь им слово, такой шум поднимут –
перессорятся, передерутся:
еле успеваешь следить за ними.
А тут еще на соседней даче:
«Ксюша, Сережа, идите кушать!»
«Ваша подача, Антон Иванов».
«Дима, ради бога, угомони собаку!»

И вот, подбираясь по ходу пьесы
к револьверу, который лежит на полке,
я увидел в окно, как летит по небу
красный мячик –
и падает мне под окна.

2 .
«Я собираю женщин и монеты!» –
он запахнул халат на животе

и снова запыхтел душистой трубкой.
«Я тоже собирал когда-то...» – «Женщин?»
«Да нет же, я...» – «Мой друг, они похожи!
У каждой есть и возраст, и цена.
Знакомьтесь, это Машенька. Жена.
Год выпуска...» – «Не слушайте, скажите:
так это вы на даче у соседей?»
«Оставили ключи пожить немного».
«А мы на ужин щуку по-ильински!
Останетесь на щуку?» – «Что, в сметане?»
«Конечно». – «Ну, тогда иду за водкой».
«Еврейская?» – «Другая здесь не в моде».
«Я вижу, вы давно на этой даче».

И вот уже по воздуху горячий
и пряный дух плывет.
По шучьему веленью помидоры,
облепленные луком и петрушкой,
да розовый с прожилками редис,
и ,наконец, распаренная щука
в разваренной картошке –

и смотрит, смотрит, смотрит на меня
глазами побелевшими.
И мы сидим – и час, и два, и три.
Звенят над абажуром комары,
стучит хвостом собака по настилу,

и разговор, как водится, на даче
течет рекой под старый патефон,
который нам опять поет по кругу:

фокстрот «Жемчуг»
летка-енка
вальс «На сопках Манчжэжури»
«Ленинградские мосты»
и попури «Девушка из Майами».

Тут его жена, всплеснув руками,
уходит в дом, гремит в дому посудой
и наконец торжественно выносит
тарелку черных жирных ягод –
и водружает посреди стола.
«Поверите? Когда-то здесь была
усадьба, вот уже не помню,
каких князей, и был вишневый сад,
огромный сад на этом самом месте».
«...Владельцем был какой-то скандинав,
имевший капитал на перевозках».
«И что же, ничего не сохранилось?»
«Ну, кое-что еще осталось.
В купальне ловят щуку, да конюшни,
где муж нашел копейку Николая...»
«Я собираю женщин и монеты!»
«...да несколько деревьев тут и там,
с которых мы снимаем эту вишню».
«Какой-то чеховский сюжет!»
«Возьмите, правда. Это вам на завтрак.
Как говорится, с барского куста.
А блюдо как-нибудь потом вернете».

...Собака проводила до ворот,
и я пошел вдоль пыльного забора
домой в еловой темноте,
какая только здесь, на подмосковных,
бывает ближе к августу ночами.

Не ягоды, но сладкий запах вишни
я нес тогда, как облако, в руках.
Над головой, расталкивая звезды,
курсировала щука по-ильински,
и я, закрыв глаза, увидел сад, –
как ягоды качаются на ветках
и солнце пробивается сквозь листья.
Когда и где я встретил эту вишню?
Очкарик из начальной школы, как
попал я к этому забору,
который мне сорвать ее мешает?
И я, открыв калитку, захожу
в чужие огороды – обмирая
от страха, обрываю с веток
и слышу женский голос у ворот:
«Понравилась тебе чужая вишня?»

«Ну что же ты не ешь?» – передо мной
бидон отборных ягод,
а женщина в дверях, и глаз не сводит,
она перебирает синий фартук,
а после тихо говорит:

«Пока не съешь, не выпущу».
И там, в дверях, садится на скамейку.
...Сперва одну, затем другую вишню

я вынимаю (пальцы ледяные!),
пригоршнями заталкиваю в рот,
размазывая слезы по щекам,
а женщина все смотрит на меня,
и кажется, вот-вот сама заплачет.

«Теперь ты понял?» – «Понял». – «Ну, иди».
Я встал из-за стола. «Постой. Умойся.
Куда же ты такой чумазый?»
Мы идем на кухню, где вода.
Она берет мое лицо в ладони,
цветастым полотенцем вытирает,
а после прижимает к животу,
и я стою, уткнувшись в фартук.
Он теплый, этот фартук, и шершавый.
И пахнет жареной картошкой.

3 .
На следующий день я закончил пьесу.
Револьвер – представляете? – дал осечку:
только море осталось шуметь в ремарках.
И тогда я решил, что пора обратно –
хватит уже куковать на даче.
Вещи – в сумку. Сложил компьютер.
Запер дом, а ключи затолкал под кровлю,
и пошел, не оборачиваясь, на поезд.

*Там, на дачной веранде
(теперь она похожа на вагон,
у которого нет ни колес, ни стекол),
осталась тарелка. Стоило мне уйти,
как ее тут же облепили осы.
Жадные, неуклюжие, они набросились
на гнилую вишню, и скоро вся тарелка
была покрыта желтыми полосатыми
спинками.*

А я стоял в тамбуре у разбитых окон
и вдыхая горячий копченый воздух,
думал о том, что никогда не узнаю:
кто была эта женщина? жива ли она?
и если да, помнит ли меня,
как помню я?
«Да что вишня!
Мы даже о себе толком ничего не знаем.
Как родители нас, например, зачали?
Дома? На даче? В спальном вагоне?
Ночью или после обеда?
И кто первым на живот положил руку?
А может быть, это случилось в прихожей
прямо на мокрых шубах?
Слушайте, ведь это все важные вещи!
Надо бы уточнить, пока они еще живы...»

В это время наш поезд влетел в столицу –
замелькали заборы, бетонные эстакады,
а я все стоял и перебирал варианты.
Один, другой, третий... И знаете что?
Тот самый, на мокрых шубах,
нравился мне все больше и больше.

*«Может быть, счастье – это только случайное
спряжение мыслей, не позволяющее нам думать
ни о чем другом, кроме того, чем переполнено
наше сердце. Кто из нас мог анатомизировать
эти мгновения, такие короткие в человеческой
жизни? – Что до меня, то я об этом никогда
не думал».*

1 .
Машина понеслась на холостом
под гору, где река, и сходни в небо,
и камыши вытягивают воду.
Бросив руль, она смотрела на солнце:
дрожит, как пуговица на нитке.
Искала, не могла найти сигареты.
Я спросил: «Чем кончилось дело?»
«Украденные вещи мы вернули.
Я его, конечно, налупила.
Но толку – что? Его отец решил,
он в Англию отправится на лето,
а после перейдет в другую школу».
«И все?» – «Все». Колеса заскрипели
по гравиию. «Давай зайдем в палатку», –
и пуговица в зеркале застыла.
«Продайте нам вино и сигареты!»

2 .
Мы обошли кругом добротный,
в английском стиле дом.
Дощатая веранда на боку
висела, как стрелковая кабина.
Башня приземистая, с бойницами.
Не дом – настоящий бронепоезд.
Зато знаменитые луга! от порога
они спускались плавно, лениво
и снова за рекой вставали, как волны.
А солнце садилось, забирая
небо розовой рябью до горизонта.
Здесь, в аллее, совсем стемнело.
Я поднял голову. «Могучие
и сумрачные дети», – процитировал.
«Смотри, огонь», – кивнула. В полумраке
едва мерцала красная лампада.

3 .
«Ушла, когда его отдали в школу, –
она легла в траву и закурила. –
Потом сошлись, опять расстались.
Так и рос на два дома. Где мы?»
«Этот был женат удачно – большая
для русского поэта редкость.
Выстроил дом, занимался лесом.
Досками торговал, но разорился.
Написал Сумерки, лучшую книгу,
и был, судя по всему, счастлив.
Умер внезапно, в Неаполе. Ничего
толком не успел увидеть».
«...а потом осталась одна
и, чтобы не сойти с ума, поехала с ним
в Италию. Рим, Равенна, Феррара –
через месяц вернулась другим человеком».

4 .
 Я подошел к дому, заглянул в окна.
 Посреди комнаты на паркете
 лежали серые пятна.
 Было видно кое-какую мебель.
 Ширмы; люстра; огнетушитель
 стоит, как часовой, у двери.
 Я собрался уходить, но вдруг
 тени по углам зашевелились.
 Кто-то снулый вышел на середину:
 с ногами в кресло, накрылся пледом.
 Другой на корточках между окон
 устроился. Включил транзистор–
 загорелся зеленый огонь эфира.
 Они сидели без света, и мне
 показалось, что я слышу голоса.
 Но я ошибался. Они молчали.

5 .
 «Решила окунуться. Подержи».
 Сунула в руки тряпичный узел.
 Сорочка, джинсы, комочки белья:
 теплая ткань пахла свежим хлебом,
 пылью и бензином. Я уткнулся
 в одежду, медленно поднял глаза.
 Она встала на краю сходен,
 и теплый торфяной воздух
 тут же облепил голое тело:
 тонкая голень, крупные ягодицы.
 Присела, соскользнула, исчезла
 под речной кожей. «Вода – сказка!» –
 долетело через минуту с того берега.
 Я стал смотреть во тьму и скоро
 увидел под водой молочное мерцание.
 Раздвигая воду, она возвращалась.

6 .
 Черные зрачки сосков, мокрая
 арабская вязь на лбу. Прижалась
 вся: бедрами, животом, грудью –
 скользкие плечи в помарках ряски.
 Одежда намочила, но сквозь холодный
 хлопок хлынуло тепло. Оно
 разливалось, как темное молоко,
 по всему телу. И я закрыл глаза.
 Тысячи темных аллей,
 где огни вспыхивают и гаснут
 во влажных еловых складках,
 расходились лучами во все стороны.
 А мы стояли на мокрых сходнях,
 и теплый торфяной воздух
 стягивал кожу, как бинт, все туже,
 и боялись пошевелиться.

* * *

Д.Т.

Обрастаешь стихами, как будто вторая кожа
 первой поверх покрывает лицо и руки;
 даже вещи все больше похожи на рифмы Блока
 или на Фета, его наливные звуки, –

обрастаешь вещами, и вещи пускают корни,
 шкаф или штору подвинуть – уже проблемы:
 высыпают приставки и суффиксы, только дерни,

гладкие плавают в мыльной воде морфемы.

Обрастаешь собой, открывая в себе чуланы,
 комнаты, где не погашен огонь, ампира
 бесконечные лестницы – набережные канала, –
 бродишь всю ночь и не можешь найти сортира.

*

«Царство небесное,
 кровь с молоком».
 Что же так ноет
 под левым крылом?

Нету ни капли во фляжке.
 Мусор какой-то, бумажки.

Синий халатик
 висит на крючке.
 Пьяный архангел
 на медном ключе

что-то тихонько играет.
 Ветер в стропилах гуляет.

Пусто на лестницах!
 Нет никого,
 кто бы ответил:
 зачем? для чего

эти стальные прилавки?
 Просит архангел добавки –

суп из пакетика
 и облака.
 Смерть бесконечна,
 а жизнь коротка.

Тает монетка ментола во рту.
 Плечики тихо стучат на ветру.

Спичек и соли;
 фонарик в горсти.
 «Не ошибись,
 выбирая
 пути».

* * *

Четыре дня над городом фрамуги
 и ржавое железо грохотали –
 четыре ночи мяло ветром реку,
 блестящую, как черная копирка,
 когда же южный ветер перестал
 и две сырых звезды упали в небо,
 то стало над рекой тепло и тихо –
 и первый раз все в городе уснули.

Тогда всю ночь во влажной тишине
 вода в реке неслышно опускалась.
 Она ушла, и сморщенное дно,
 как старческие десны, оголилось,
 и люди утром реку не узнали.
 «Наверно, шлюзы». – «Да, наверно шлюзы».
 «Такое тут весной бывает часто».

«Смотрите, человек внизу гуляет!»

И точно, там внизу, едва заметный
среди речного мусора – на дне,
какой-то человек бродил по лужам,
дорогу утверждая лыжной палкой
(как если бы ходил на трех ногах!),
и солнечные блики разбегались
кругами по воде, пока он шел
по дну реки, воды не замечая.

Казалось бы, ну что ему на дне?
А он все бродит по низу и бродит,
как будто перед ним руины башен,
и Фивы семивратные открылись,
и вовсе не забытый богом хлам,
но книга на песке – и надо книгу
во что бы то ни стало прочитать,
покуда наверху закрыты шлюзы.

Когда в твоём окне течет река,
она, не покидая берега,
повсюду проникает, промывая
до блеска в доме каждую вещь,
она всю ночь работает по дому
и только утром тихо отступает,
а вещи остаются, именами
забытыми, как реки, обладая.

* * *

Москва! несгораемый ящик
моих неземных платежей –
пропал полированный хрящик
в бурьяне пустых площадей.

На римских руинах Манежа
гуляют столичные львы,
уносят высотные краны
на небо фрамуги «Москвы».

Наденешь резиновый плащик –
и в путь, не касаясь земли.
Я был неумелый рассказчик:
ладони в кирпичной пыли.

Зашейте меня, как военный
пакет за подкладку, – Москва!
и гонят по небу, как пленных
полвека назад, облака.

* * *

*Под Рождество на Чистопрудном
бульваре, где я жил когда-то,
сердечко екает в нагрудном
кармане старого солдата –*

ключом на проволочной связке
я открываю эти двери,
где наши детские коляски
и наши черные портфели.
Я прохожу по коридору
под безутешным снегопадом,
я слышу запах «Беломора»,

кофейным пахнет суррогатом.

Кому накрыли стол под лампой?
Зачем рыдает радиола?
Метель беснуется за рамой –
и мятный привкус валидола.
Они пройдут из темных комнат –
мне разговор их непонятен,
как много в доме темных комнат!
как мало в мире светлых пятен!

Когда всю ночь на Чистопрудном
зима качает фонарями
и поднимается по трубам
над ледяными зеркалами –
тогда по ниткам, словно черти,
сигают ангелы на стогна
«и крылья складывают в плечи».
И заколачивают окна.

* * *

*«Татарская «Старая Крепость»
на левом плече Коктебеля –
зажарь мне кефаль на мангале
и рюмку мадеры налей!»*

*Пока не стемнело над морем,
мы с морем та-та-та поспорим,
и нам та-та-та-та-та рифмы
помогут та-та-та, та-та..».*

Но что-то не сходилось в этот вечер
на каменной веранде Коктебеля.
«Иван Шмелев» у пятого причала
пытается напрасно бросить якорь –
с такой волной!
и катер сносит в море.
А я прошу татарина – мадеры.

Когда холодный ветер гонит волны
и мелкий дождь качается над ними,
мне в Коктебеле, кажется, звена –
зерна – узла – недостает в пейзаже.
Зря ветер перелистывает волны!
Из этой книги вырваны страницы,
и я плачу промокшими деньгами
за рыбу на мангале.
Мой татарин
смахнет остатки – лавки и лотки
и чертовы отроги Карадага.
Сырая парусина лупит воздух.
Накрашенная баба в караоке
рыдает про измену и любовь.
Я слышу на бильярде стук шаров.

Мне в Коктебеле кажется – судьба
бросает на сукно в шалмане жребий.
Скажите, что за числа на шарах?
Там говорят, что ночью на дороге
разбился грузовик; что все погибли;
а мой татарин в розовом трико
картонкой, молча, машет у мангала,
и я пойму, что рифмы для распада
не существует.

На каменной веранде Коктебеля
я слышу, как «Иван Шмелев» дает
еще один гудок – и отплывает.
С такой волной! он курс берет на Керчь
и с ходу набирает обороты,
а я сижу, и кажется, что глина
полосками стекает по лицу.
Я трогаю лицо, но рук не вижу.

В такие дни в Крыму темнеет рано.

* * *

Смотри –
как выросла за лето
рука пророка
Даниила!
По желтым улицам
Ташкента,
видать, она меня
водила.

Скрипел айван,
и пахло пловом,
белела в темноте
известка.
А вдоль айвана
шла корова
и на ходу жевала
звезды.

Куда еще?
Анхор сквозь пальцы
бежит, как рисовые
зерна. Весь вечер
ждут Сусанну старцы.
У них глаза, как прежде,
черны.

А я тебя таким
запомню: твой
хлебный запах на рассвете.
Я все твои каменоломни
пройду с фонариком
вот этим.

И пусть болит
пустой в кармане
рукав пророка Даниила.
«Я собираю эти камни!»
Смотри –
как выросла
могила...

* * *

А.Л.
На старом кладбище в Коломенском,
где борщевик в ограды ломится,
как черти в повести у Гоголя,
и воронье по крышам цокало, –
в углу под вязами столетними
стоял собор Усекновения

главы Предтечи.

Я заходил сюда от случая.
Здесь над оврагами певучая,
дощатая и комариная
стояла тишина старинная,
и как-то раз, под воскресение,
калитка в храм Усекновения
была открыта.

И я вошел под этот стрельчатый,
нерусским гением отмеченный,
московским воздухом заточенный
и жестью наспех заколоченный
свод храма, где остатки росписи,
как острова на белом глобусе,
плывут под куполом.
Там за колоннами в предбаннике,
где друг за дружкой, как блокадники,
пророки со святыми лепятся,
была в стене пробита лестница,
винтом под купол уходившая,
облупленная и прогнившая
сырая, темная.

И я полез, глотая запахи,
по этой лестнице, где за ноги
хватают мертвецы и крошится
кирпич в руках, сдирая кожицу,
и тыщу лет впотьмах карабкался,
пока на белый свет не выбрался
и дух не перевел.

А наверху! Под кровлей звонницы,
как на гигантской переносице,
Москва поблескивала линзами
и на меня смотрела пристально,
а я стоял над этим городом,
и чей-то голос тихим шепотом
мне говорил, что все наладится,
а где-то в небе Вечный Пьяница
гремел зелеными бутылками,
и летний дождь шумел над пыльными
крестами кладбища в Коломенском –

что все когда-нибудь закончится.

* * *

...дерево. Оно
стояло во дворе, у глухой стены,
как арестант. Старое, сморщенное.
Безымянное.
Про себя я так и называл его: «Дерево».
Оно считалось мертвым, но когда
я прикладывал ухо, слышал,
как шелестят листья.
Все листья, что шумели на нем когда-то.
Выше дерево вращало в стену –
где находилось мое жилище.
Чужие сны пахли медом и морем.
Но сразу же забывались.

Я прожил здесь год, писал:

*«Как странно вечерами одному
бродить среди классических фасадов,
как будто опрокинутых во тьму,
оглошную от мокрых снегопадов...»*

В сумерках,
когда воздух загустевает,
я различал под землей реки.
Хлопки невидимых окон.
Да и сам я казался призраком.
Сколько раз, боже мой!
по дороге в пустую квартиру,
я поднимался на Зверев мост.
Соборы, башни, купола –
лежали на дне канала, как гнезда.

Разоренные. Пустые.
А я почему-то вспоминал дерево.
«Как оно у стены будет?
Сон показать – и тот некому».
Медленно шел обратно.

*«Мы ведь, в сущности, так похожи –
говорим, а сказать ничего не можем.
Даже сны, и те смотрим чужие.
Просыпаемся – и ничего не помним».*

И тогда я увидел их.
Размером с наперсток,
в красных хоккейных шлемах,
они ходили по крыше
и громыхали задвижками,
открывая форточки созвездий.
Не город, но пятипалубный корабль
зажигал огни – и поднимался вверх.

Я видел, комья земли и глины, срываясь,
падали в сторону спальных районов.
Моллюски, водоросли, рыбы мерцали в небе,
облепив корни, –
и только темная ветка все стучала и стучала в окна.

...Ее узор,
мелкий, как след скарабея,
сошел со стекла утром.
Ни слова я не запомнил.
Но с тех пор, как только
начинают поскрипывать звезды,
мне кажется, этот язык
утрачен не безвозвратно.
Однажды он вернется
и будет самым прозрачным
среди языков, которые
мы когда-нибудь
обретали.

* * *

В ночь на субботу шел последний снег.

Он был похож на кольца мокрой шерсти–
как будто наверху овечье стадо
стригут, а шерсть бросают вниз –
и вздрагивают липовые ветки,
роняя эти кольца на бульваре.

В ночь на субботу шел последний снег.
По снегу, оставляя черный след,
шел человек, и снег ему казался
большой зимы немислимым началом:
как если бы стоял не месяц март,
а приближалось время Козерога.

Смешно? Смешно. Конечно же, смешно.
В кармане у него билет на море.
К тому же дача, он хотел за лето
веранду перебрать и перекрасить.
А тут зима. «Хорошенькое дело!
Как незаметно лето пролетело...»

Так думал человек – и улыбался.
И не жалел о том, что получилось.
А снег все падал кольцами на землю,
раскачивая липовые ветки,
и стриженные овцы на бульваре
жевали снег, зимы не соблюдая.

* * *

Окликни меня у Никитских ворот
и лишний билетик спроси по привычке.
«А помнишь, в Оладьях – вишневый компот,
и как на домах поменяли таблички?»

Здесь были когда-то «Пельмени»,
и водка бежала по вене

актера, который умрет, отыграв
премьеру в театре, и ляжет на полку
«Повторного фильма» в Калашных рядах,
навсегда зашторив свои телескопы.

«Так что же ты, Господи, медлишь?
И сколько еще мне намелешь?»

Вот «Рыба», а в «Рыбе» судак на гвозде,
вот палтус – как связка с ключами от храма,
где нас обручали в сырой темноте,
и лавочки спят в полосатых пижамах.

Горит вознесенская свечка.
Стучит за подкладкой сердечко.

Повторного фильма последний сеанс!
В пустом кинозале скрипят половицы.
Но это кино было только про нас.
И эта комедия не повторится.

ИЗ НОВЫХ СТИХОВ

* * *

человек на экране снимает пальто
и бинты на лице, под которыми то,
что незримо для глаза и разумом не,
и становится частью пейзажа в окне –
я похож на него, я такой же, как он,
и моя пустота с миллиона сторон
проницаема той, что не терпит во мне
пустоты – как вода – заполняя во тьме
эти поры и трещины, их сухостой –
и под кожей бежит, и становится мной

* * *

прозрачен как печатный лист,
замысловат и неказист,
живет пейзаж в моем окне,
но то, что кажется вовне
окна, живет внутри меня –
в саду белеет простыня,
кипит похлебка на огне,
который тоже есть во мне,
и тридцать три окна в доме
открыто на меня – во тьму
души, где тот же сад, и в нем
горит, горит сухим огнем,
что было на моем веку
(кукушка делает «ку-ку») –
и вырастает из огня
пейзаж, в котором нет меня

* * *

как лыжник, идущий по снегу во тьму,
держу на уме, что не видно ему –
все дальше уходит по лесу лыжня,
все больше того, что в уме у меня;
сосна, как положено древу, скрипит
в ночи на морозе, который сердит;
и лыжник выходит из леса к реке
(я вижу цветные огни вдалеке) –
спускается вниз, и скрипит языки
большая, как память, ночная река

* * *

человек состоит из того, что он ест и пьет,
чем он дышит и что надевает из года в год,
вот и я эту книгу читаю с конца, как все;
затонувшую лодку выносит к речной косе,
ледяное белье поднимают с мороза в дом
и теперь эти люди со мной за одним столом;
тьма прозрачна в начале, и речь у нее густа –
открываешь страницу и видишь: она пуста

* * *

гуди, гуди – мой черный ящик,

на пленку сматывай, пока
мой привередливый заказчик
не обесточил провода –
пока потрескивает сверху
его алмазная игла
я не закрою эту дверку –
мне по душе его игра,
в которой медленно и тускло,
без препинания и шва,
слова прокладывают русло
реки наверх – а жизнь прошла

* * *

во мне живет слепой, угрюмый жук;
скрипит в пустой коробке из-под спичек
шершавыми поверхностями штук
хитиновых – и кончиками тычет –
ему со мной нетесно и тепло
годами книгу, набранную брайлем,
читать в кармане старого пальто,
которое давным-давно убрали

* * *

молчит моя стена внутри;
на том конце стены горит
фонарь или окно без штор –
отсюда плохо видно, что
я слышу только скрип камней
прижмись ко мне еще плотней
кирпич бормочет кирпичу –
стена молчит, и я молчу

ДЖЕМА-АЛЬ-ФНА¹

*«Спутник находится в мертвой зоне...
находится в мертвой зоне...»*

Марракеш!
Розовые десны старого города.
Белые спутниковые тарелки
зря сканируют небо –
ни дождя, ни фильма небо им не покажет.

Погасла черная теле-кааба.
И город под вечер идет на площадь.
Головы. Головы.
Головы. Головы. Головы.

Голос на башне хрипит и стонет.
Все на молитву! но голос никто не слышит.
Сотни рук выстукивают барабаны.
Сотни губ вытягивают флейты.
Сотни ртов выкрикивают слова –

¹ Джема-аль-Фна – средневековая площадь Марракеша, одновременно и рынок, и место традиционных мусульманских представлений.

и площадь затягивает меня в воронку.

«Что бы вы хотели, мсье?»
слышу возбужденный шепот.
«Qu'est-ce que vous voulez?» –

г.Троицк.1974 г. Глеб с отцом,
матерью и сестрой Аней



Я отмахиваюсь:

«Не хочу смотреть гробницы Саадитов».
«Не хочу слушать сказки тысячи и одной ночи».
«Не хочу пробовать печень хамелеона».
«Ни будущее, ни прошлое менять не желаю».

«Так что бы вы хотели, мсье?» –
не унимается тип в полосатой джеллабе.
«Можешь мне вернуть «я»?» – спрашиваю.

«Нет ничего проще, мсье!»
Он покорно опускает веки –
виден лиловый узор, которым они покрыты.
«Идем до квартала двойников.
Тому, кто твой, положишь руки

на темя – так, смотри».
Грязные ладони складываются «лодочкой».
«И все?» – «Все». Улыбаясь, он
обнажает кривые белые резцы.
«Combien? – Сколько?» – «Сколько
Аллах подскажет сердцу».

Широкая, как жизнь, площадь
стекает в адские трещины улиц.
Утроба города урчит и чавкает.
В темноте на прилавках
все сокровища мира. Но где
полосатый балахон?
Еле успеваю за провожатым.

«Пришли!»
Под коврами, в шерстяном капюшоне
некто уставился в пустой телевизор –
рядом на ступеньке чай, лепешка.
Он подталкивает: «Пора, друг».
Замирая от страха, складываю руки, и –

«Я – продавец мяты, сижу в малиновой феске!»
«Я – погонщик мула, стоптанные штиблеты!»
«Я – мул, таскаю на спине газовые баллоны!»
«Я – жестянщик, в моих котлах лучший кускус мира!»
«Я – кускус, меня можно есть одними губами!»
«Я – ткач, мои джеллабы легче воздуха!»
«Я – воздух, пахну хлебом и мокрой глиной!»

*Теперь, когда меня бросили одного посреди медины,
я с ужасом понял, что я – это они: продавцы и погонщи-
ки, зазывалы и нищие, ремесленники и бродяги; что я
смотрю на мир их черными глазами; вдыхаю дым кифа их
гнилыми ртами; пробую мятный чай их шершавыми гу-
бами; сдираю шкуру с барана их заскорузлыми руками;
что мне передалась тупая поступь старого мула;
то, как зудит лишай на бездомной кошке.
Я хотел найти себя, но стал всеми! всеми!
стою – и не могу сойти с камня...*

В этот момент вспыхивают экраны –
спутник вышел из мертвой зоны!
и город отворачивается к телевизору.
А я застыл посреди базара
и не понимаю: кто я? что со мной?

«Мсье!» – слышу над ухом строгий голос.
Это говорит офицер, патрульный.
«Ваши документы, мсье!»

– Мне кажется, что я не существую...
– Кому кажется, мсье?



Глеб ШУЛЬПЯКОВ (Дружеский шарж Орхана Памука)



В ПОИСКАХ «РОДОСЛОВНОЙ ДУШИ» (интервью)

С Глебом Шульпяковым мы когда-то учились в одном классе средней школы №3 (ныне Лицей) и даже жили на одной улице. Потом его семья переехала в другой город, и мы надолго потеряли друг друга из виду. Встретились случайно, накануне вступительных экзаменов на факультет журналистики МГУ: оба приехали туда поступать... Потом сталкивались иногда на занятиях. После окончания университета мне время от времени попадались в прессе стихи Глеба, которые, честно говоря, произвели весьма сильное впечатление... Позднее я читала о нем как об известном поэте и литературоведе. А когда прочла, что вышел в свет новый роман Глеба Шульпякова, то не удержалась и, отыскав в Интернете электронный адрес старого знакомого, написала письмо. Результатом стал этот выпуск журнала «Троицк литературный» и это интервью...

– Кем ты себя считаешь в первую очередь – поэтом, журналистом, прозаиком, литературоведом?

– Прозу я мог бы не писать, наверное. А не писать стихи не сумел бы. Это ответ. Правда, стихи пишу нечасто. Журналистикой зарабатываю на жизнь, а прозу пишу, чтобы «вытащить» на поверхность то, что сложно выразить в стихах.

– Почему ты выбрал литературную профессию? Это наследственное?

– Нет, мои родители – научные работники, отец был физиком, мать – инженер-химик. Меня тоже прочили в физики, но отец в 1986 году умер от сердца, и я пустился по своему усмотрению на журфак, поскольку меня тянуло к литературе, а к физике – не очень...

– Первые девять лет своей жизни ты провел в нашем городе. Как ваша семья попала сюда?

– Мои предки по отцу из уральских казаков, по матери – священники с верховьев Волги. Познакомились они во время учебы в Москве. Осели в Троицке в конце шестидесятых, получив жилье от московского института.

– Что значит для тебя Троицк как город детства?

– Ощущение осталось солнечное – несмотря на внешнюю неказистость тогдашней жизни, тесноту, небогатость... После школы практически жил во дворе. Двор,

соседи, у которых можно стрелкнуть соль или луковицу – тогда это еще было. Коммунальность такая, но позитивная. Играли на стройках или на складе позади дома на Академической, где была сгружена стекловата и стопки деревянных рам. Как она колется, стекловата, помню до сих пор... Помню толпы, осаждавшие кассу кинотеатра в Доме Ученых, когда привозили «Корабль-призрак», «Человека-невидимку», «Кинг-Конга». Это конец семидесятых. Потом ощущение от этих фильмов всплывает в моих стихах, как ни странно...

Все «ужасы» и радости детские – отсюда, из Троицка. У меня есть стихотворение «Camden Town», там сюжет начинается именно в вашем городе. В моем городе детства. В Академгородке, по-тогдашнему.

Первое ощущение глобального одиночества – тоже отсюда. Помню, я по вечерам ходил со скрипкой через весь город на занятия, куда-то на 41-й километр. Зима, темно – а я тащусь. И конца не видно этой дороге... Или когда один шел из школы – я учился в новой школе, а жил в старом районе. Поэтому после уроков все шли в одну сторону – а я оставался один. В общем, было о чем поразмышлять... Или эпизод про пожарную вышку, куда я как-то забрался. Один залез, без свидетелей – чтобы доказать себе, что могу! Этот эпизод описан у меня в романе

«Книга Синана». Но в целом, повторяю, ощущение солнечное. Как от желтой бочки, в которой тогда молоко привозили, и я ходил с бидоном, покупать три литра. Бидон был, кстати, «цвета морской волны», с отколотой эмалью на крышке. А линолеум на кухне – в клетку, бордовую, черную и белую. Дикое сочетание, если вдуматься...

– **С чего началась твоя литературная «карьеря»?**

– В школе я думал, что поэзия закончилась на Маяковском, и все. Но когда поступил в университет, все вышло наоборот. Тогда как раз начался книжный бум. И мы стали бредить поэзией Серебряного века. Зачитывались Мандельштамом, Ахматовой, Цветаевой, Пастернаком. Вникали в Розанова, Соловьева, Бердяева... Хотя сейчас мне кажется, что в той эпохе нас больше привлекали эксперименты с языком... Ведь ничего, кроме языка соцреализма, у нас тогда не было. А тут Андрей Белый... Пильняк...

– **Как сложилась твоя судьба после университета?**

– Жил на вольных хлебах, писал в разные издания статьи о книгах, литературе. Тогда это было востребовано – многое издавалось и требовало комментариев. Писал для «Общей газеты», «Московских новостей», «Книжного обозрения», работал с «Веком», с толстыми журналами. «Литературная газета» печатала мои очерки о Джойсе, Джоне Донне, Фросте и других заново открываемых классиках. Переводил английских поэтов. А потом при «Независимой газете» стало выходить книжное приложение «Экслибрис». И меня взяли в редакцию. Я вел раздел «Худлит». Помимо художественной литературы, там рецензировались мемуары, биографии, научные книги... Вот там я и «осел» на несколько лет. Помню, многие знакомые говорили, что для них четверг – красный день календаря. По четвергам выходил наш «Экслибрис». Потом книжный мир превратился в рынок, литература стала коммерческой, и писать о ней стало скучно и бессмысленно. Мы всей командой ушли из издания. К тому же мне давно надоело писать о чужих стихах. У меня вышла книга своих.

– **Ты больше любишь свои ранние или поздние стихи?**

– Ранние стихи мои подражательны. Они как шлак, который исторгаешь из себя и идешь дальше, к зрелым своим стихам... Но все мои ранние стихи искренни, хотя и написаны под влиянием Бродского. Что делать! Просто на каком-то этапе Бродским надо переболеть – чтобы преодолеть его. И со мной это произошло.

– **Как тебе удавалось издавать стихи? Обычно ведь начинающие авторы сталкиваются с огромными трудностями...**

– При «Независимой газете» было издательство, существующее, как и газета, на деньги ныне опального олигарха. Поэтому тогда они могли позволить себе издавать так называемые «некоммерческие» книги. В 2000 году вышел мой первый стихотворный сборник «Щелчок». До этого, правда, была еще книга переводов эссе Одена – в 1998 году.

– **А как ты стал редактором журнала «Новая Юность»? И как вообще возник этот журнал?**

– 16 молодых сотрудников старой «Юности» в 1993 году решили, что нельзя в 90-е годы делать журнал в духе «шестидесятников», «отпочковались» и открыли свой.

Как-то ныне покойный бывший глава «Новой Юности» Александр Ткаченко выловил из самотека мои стихи, пришел в восторг, стал кому-то звонить среди ночи... Так я начал печататься в этом журнале. Стихи, переводы, эссеистика... Потом возглавил отдел поэзии. Сейчас вот – главный редактор. Журнал выходит 6 раз в год. С прошлого года пришлось сделать издание полностью сетевым, так как прекратилось государственное финансирование. Больше всего от этого, конечно, пострадали провинциальные библиотеки, где нет Интернета. Там журнал на бумаге был нарасхват. Сейчас, чтобы жить, редакция, помимо выпуска журнала, занимается полиграфическими заказами. Ну, чтобы оплачивать аренду и иметь хоть какие-то доходы...

– **Художественную прозу ты начал издавать относительно недавно. Написание романов – это некий этап творческого роста?**

– Первый роман, «Книга Синана», вышел в 2005 году. Он написан под влиянием моих впечатлений от поездки в Стамбул. Это было первое столкновение с восточной цивилизацией, одновременно близкой мне – и чуждой. Сначала я хотел написать очерк о зодчем Синане, построившем в XVI веке главные стамбульские мечети. История этого человека необычайно интересна, хотя и мало известна. Христианский мальчик, рекрутированный в янычары, дослужился до главного архитектора империи. Вторая после султана должность! Ведь власть в Османской империи репрезентировала себя исключительно через архитектуру. Турецкий восток (который и не восток вовсе в чистом виде), его странный восточно-западный колорит, и отсюда его особая энергетика, потрясающая архитектура, перед которой невольно ощущаешь свою малость и вместе с тем сопричастность мирозданию – все это стало для меня своего рода экзистенциальным шоком... Но я не научный работник, чтобы писать монографии. Материал, который мне удалось отыскать, путешествуя по Турции, решено было подать через романную форму. Лирический герой, московский журналист, который едет в Стамбул, во многом совпадает со мной. Этаким Печорин на Босфоре, как писали критики...

– **А как возникла идея второго романа, «Цунами»?**

– С «Цунами» было немного по-другому. Как раз в декабре 2004 года я впервые оказался в Таиланде. Стихия прошла стороной, но на какое-то время нас потеряли, на связь выйти не удавалось. А когда наладили Интернет, мы уже висели в списках пропавших без вести. Я тут же прошелся по сайтам, по форумам – там активно обсуждали мою «гибель». Предполагаемую, но все же... В тот момент, перед монитором, у меня на секунду возникло странное чувство отчуждения от самого себя. «Если этот человек пропал, его ищут или уже похоронили – кто же тогда я?» Неприятное и вместе с тем заманчивое ощущение. Именно оно и стало лейтмотивом книги. Именно на него я и пытался «настроить» читателя.

– **А как же сюжет?**

– Я скажу сейчас страшную вещь: сюжет абсолютно не важен. Нота, мелодия, за которой идет читатель – вот что необходимо для прозы. Если ее нет, то никакие пируэты сюжета произведение не спасут, оно останется однообразным. Возможно, это убеждение пришло ко мне пото-



му, что я в первую очередь поэт. В стихах ведь главное – вовсе не сюжет, а тон, звук. Гул слов...

– **Но, помимо мелодии, в романе полно и фактуры, причем довольно сочной, пряной... Откуда ты ее брал?**

– Действие второй части книги происходит в Москве, оно разворачивается буквально на двух московских перекрестках. Дело в том, что несколько лет назад я перебрался в Замоскворечье. Удивительный район, где сохранился какой-то старомосковский дух... Тайна городской жизни, окончательно уничтоженная на той, «кремлевской» стороне реки. И если ты живешь здесь – а не на прогулку приходишь – ты начинаешь ощущать это силовое поле. Энергию старого города, которая невероятно давит на психику. Требуется от тебя, пришельца, ответа. Реакции. Отчета. Таким отчетом и стала моя книга – в какой-то мере... Я просто взял и населил эти церкви и мечети, эти дома и подвалы, эти фабрики и дворы своими историями. Своими персонажами – полупридуманными, полуреальными.

– **Например?**

– Подземный ход, ведущий из дома в церковь, где герой избавляется от назойливой соседки – он существует на самом деле, в моем доме. Или эпизод с мощами, когда герой их тащит в дом – во время прокладки трубы у меня под окнами разворотили церковный двор и... Теракт на Третьяковской, информацию о котором случайно узнает герой, взят из жизни, просто в реальности этот ужас произошел на Павелецкой. Я проснулся от воя сирен, видел, как людей выносили из метро... Кабаки, рюмочные, бани – все эти места часто совпадают с реальными. И населены моими призраками, фантомами...

– **А сам герой?**

– Иногда этот малопрятный тип полностью совпадает со мной. Скажем, в рассуждениях об уничтоженном городе. О новой власти, подмявшей под себя страну, как урка... О той показной, потемкинской реальности, в которую скатывается страна. Все это мои мысли, мои соображения относительно нашей действительности. Что касается поступков героя – какими бы отвратительными они ни казались – это моя писательская реакция на новую реальность. На то цунами нового времени, которое смыло целый мир. Подсунув взамен фальшивку, симулякр...

– **В твоей книге много киношных образов...**

– С цитатами из фильмов получилось не специально, но показательно. Я, когда писал, жил один. И по вечерам часто, по холостяцкой привычке, пил вино и смотрел на

компьютере фильмы. Почему-то тянуло на советское, сталинское кино. За год я пересмотрел всех этих «Девушек с характером» и «Девушек без адреса». А параллельно – Хичкока. От его картин я тоже не мог оторваться. И знаете, как мне кажется – почему? Это кино подозрительно безболезненно ложится на нашу жизнь. Которая состоит из чудовищной смеси сталинского кинематографа, где все прилизано – и Хичкока, у которого на каждом шагу провалы, черные дыры... Так и в моем романе – сквозь один пласт реальности, привычной и приукрашенной, проступает другой, темный и тревожный...

– **Издать романы было сложно?**

– «Книга Синана» вышла в издательстве «Ад Маргинем», где работали мои давние знакомые. Это издательство специализируется либо на «недолитературе» (проза музыкантов, художников, философов), либо на «перелитературе» – вроде Сорокина или Пепперштейна. То есть, чтобы книгу взяли, должна быть какая-то «цацка». В данном случае она присутствовала – в виде ислама. Вторая же книга в жанровом отношении была чиста. И я отдал ее в «Вагриус», крупное издательство, которое печатает современную прозу.

– **Последний вопрос – а откуда у тебя такая страсть к путешествиям?**

– Ну, во-первых, после того, как Москву окончательно разрушили, тебе приходится искать город, который можно считать своим. Занятие безнадежное, но... А вторых, ведь никто из нас сегодня не знает своей родословной. Не буквальная даже, а душевной, духовной. Когда мы в 90-х прочли «Русскую идею» Бердяева, даже такая поверхностная книга стала для нас открытием. Оказывается, у нашей страны есть целая философия, смысл. Назначение – не только коммунизм построить. Однако Иосиф Виссарионович Сталин был профессионалом своего дела, и методично выкосил, выкорчевал все корни. Цепочка «благодаря» машине репрессий прервалась. Ее уже не восстановишь. Советское население 70-х-80-х годов – это люди без роду и племени. Отсюда расцвет эзотерики в застойные времена – то же стремление докопаться до корней, любых, пусть даже мифических, иллюзорных... Так вот, мои путешествия тоже отсюда. От желания знать, откуда во мне то или это... Удивительно, что «фрагменты себя», собственной души можно обнаружить в Турции или в Камбодже, в Таиланде... Путешествуя, мне хочется собрать кусочки паззла, из которых состоит мое «я». Говоря высокопарным языком, отыскать родословную души...

Беседу вела **ИРИНА ШЛИОНСКАЯ,**
писатель, член Союза журналистов России



Ирина ШЛИОНСКАЯ

С ЧЕРНОГО ХОДА В ЛИТЕРАТУРУ...

Писать о Глебе Шульпякове не просто. Прежде всего, потому, что сразу возникает вопрос: Шульпяков – поэт, и Шульпяков – прозаик и эссеист – это два разных человека, или один?

Знакомство с творчеством Глеба началось для меня с его поэзии. Поэзии шероховатой, ломаной, как полноводная река, вобравшей в себя ручейки-отголоски стихов, написанных разными авторами как прошлого, так и современности, но уверенно прокладывающей свое собственное русло... Кажущейся порой набором бессмысленных фраз, из которых, как из разноцветных ниток, сплетается пестрый узор не похожей ни на что, но в то же время такой знакомой окружающей нас реальности:

**когда не останется больше причин,
я выйду в сугробы ночного проспекта,
где плавают голые рыбы витрин
и спит молоко в треугольных пакетах, –
в начале начал, где звенит чернозем,
я буду из греков обратно в варяги,
и женщина в белом халате подъем
сыграет на серой, как небо, бумаге**

Как и любой поэт, Глеб Шульпяков – певец своего времени. Он принадлежит к так называемому «поколению тридцатилетних», которые многие сегодня называют «потерянным». Наша юность пришлась на эпоху перестройки, а вступление в зрелую жизнь – на постперестроечный период, когда происходила переоценка всех и всяческих ценностей. В свое время этому же испытанию подверглись поэты Серебряного века – Пастернак, Мандельштам, Ахматова, вставшие перед выбором: воспевать новую реальность или, описывая ее, остаться верными традициям русской интеллигенции, вечным общечеловеческим идеалам... По этому же пути пошел и Шульпяков, интеллигент до мозга костей, вошедший «с черного хода в литературу», поскольку парадный вход туда был уже прочно закрыт, поэзия стала никому не нужным, несерьезным занятием... Но – не побоюсь повторить банальные слова: талант всегда пробьет себе дорогу! Так случилось и с Шульпяковым. Его заметили и оценили – даже на фоне нашей «продажной» действительности.

Что же такое для этого поэта – действительность?

Вместе с Шульпяковым мы отправляемся в ностальгическое путешествие, начинающееся в нашем родном Троицке в те далекие времена, «когда в крови бежала

кровь, а не вода», а оттуда – в Москву переходного периода:

**«А помнишь, в Оладьях – вишневый компот,
и как на домах поменяли таблички?»**

В стихах Шульпякова часто встречаются кинематографические сравнения: жизнь, с одной стороны, состоит из застывших на киноплёнке образов:

**Но это кино было только про нас.
И эта комедия не повторится**

С другой – экранные образы приходят в движение и становятся нашей сущностью:

**человек на экране снимает пальто
и бинты на лице, под которыми то,
что незримо для глаза и разумом не,
и становится частью пейзажа в окне –
я похож на него, я такой же, как он,
и моя пустота с миллиона сторон
проницаема той, что не терпит во мне
пустоты – как вода – заполняя во тьме
эти поры и трещины, их сухостой –
и под кожей бежит, и становится мной**

Шульпяков как никто умеет почувствовать ритм мироздания и выразить его в стихах, путем нагромождения образов – неожиданных, неправильных, неестественных, но затягивающих все глубже и глубже в себя, в ту субъективную реальность, которая живет в душе у каждого из нас:

**как долго я на белой книге спал,
и книга по слогам меня читала,
а розовый скворец вино клевал,
ему вина всегда бывает мало –
как сладко, проникая между строк,
ловить ее некнижное течение,
пока во тьме земли копает крот,
мой город-крот, темно его значенье**

Эссе и очерки Шульпякова, о чем бы он ни писал – о творчестве других авторов или о собственных путешествиях – на первый взгляд, совсем не похожи на его стихи.



Прекрасный язык, стиль – но нет этих пронзительных извивов подсознания, перед нами привычная, «нормальная» реальность. И только прочитав художественную прозу автора, его романы «Книга Синана» и «Цунами», понимаешь, что это та же поэзия, но в иной форме, своего рода литературная мистификация, стремление притвориться «таким, как все».

Но Шульпяков не такой, как все. Поднимая в своих прозаических произведениях колоссальные культурологические пласты, он пропускает их через себя, через поток личного сознания, через свой экзистенциальный опыт... Он создает очередное стихотворение в прозе, надеясь, что читатель ощутит колотящийся обнаженный пульс его ритмичности.



Анатолий КОРОБОВ

ТАК ГОВОРИЛА МНЕ МОЯ УНДИНА...

Глеб Шульпяков – свидетель стремительного распада величайшей страны мира, поэт перестроечной эпохи. Подлинные причины распада объяснит время – самый беспристрастный и объективный историк.

Однако, искусство зачастую предвосхищает вероятный ход событий, иногда на десятки лет вперед...

В своем произведении “Camden Town”, поэт, вспоминая детские годы, довольно точно и убедительно показывает причины грядущих катаклизмов, произошедших в

СССР: отсутствие свободы перемещений, неоправданная изоляция от всего мира и постоянный дефицит во всем:

так вот, давным-давно, в четвертом классе, я выменял у Голубева Ромки на серию болгарских марок флоры журнальчик "Англия" на русском языке и шел домой, зажав портфель в руке.

А дома, забравшись в чулан, школьник рассматривал волшебные картинки из незнакомой и неведомой жизни. Но, не столько Биг-Бен и королевские кафтаны потрясли его, сколько мальчик в черных лакированных ботинках. Далее следуют строки:

**С тех пор прошло примерно двадцать лет.
И вот я в Лондоне – зеваю в галереях,
брожу по кабакам и магазинам,
и как-то утром черт меня заносит
на Camden Town, где у них толкучка,
и там, среди поношенной одежды,
на набережной старого канала,
у бабы в синих стеклах за копейки
я покупаю черные ботинки
и тут же, у решетки с вентелями
завязываю толстые шнуры.**

Мечта сбылась, до обидного просто и банально, но она уже не увлекает его, поскольку стала доступной. И поэту жаль того мальчика с портфелем из клеенки, который бредет по Сиреневому бульвару, а на самом деле это сожаление о так бездарно рухнувшей стране...

В данном произведении Шульпяков предстает перед нами как представитель, так называемого, лирико-философского жанра. Он с любовью относится к русскому языку и признается, что толчком к занятию литературой послужила яркая аллитерация: “драли буксиры басы у причала”.

Литературная позиция поэта – отрицание традиций, стремление создать свой неповторимый стиль. В духе раннего В.Маяковского он также, но с современными нюансами, призывает “сбросить с корабля современности” Пушкина, Лермонтова, Толстого, Радищева... Несомненный представитель постмодернизма, Г.Шульпяков исповедует эстетические принципы символистов, декадентов, футуристов, авангардистов и в своем творчестве, как и И.Бродский, стремится следовать традициям современного западного искусства. Сторонник так называемого нерифмованного стиха, он с большим успехом, даже в рифмованных стихах, создает иллюзию отсутствия рифмы. Таков его эстетический выбор.

В борьбе с традициями русской литературы он, как бы в противовес лермонтовской Тамани, создает свою собственную. Но, по сравнению с первоисточником, сюжет, наполненный у М.Лермонтова напряжением трагедии, у Г. Шульпякова превратился в натуралистический эпатаж. Создается впечатление, что для него не столь важно, о чем говорить, лишь бы блеснуть знанием языка. Таким образом, живописное владение языком иногда становится самоцелью.

Поэт, глубоко чувствующий исконную, корневую красоту русского языка, увлекается до самозабвения и, как правило, ведет сюжетную линию автоматически, подчиняясь подсознанию. Художественная палитра его стиха активно насыщена приемами родственных искусств. В частности, поэту свойственно использовать художественные приемы импрессионистов, абстракционистов, сюрреалистов... В сочинении “Грановского,⁴” он вполне

свободно оперирует особенностями родственных художественных жанров, создавая своеобразный увлекательный мир. Он, как скульптор, смело смешивает различные компоненты, создавая нечто необычное посредством языковых средств. В данном сочинении чувствуется осознанное использование художественных приемов, свойственных Н.Гоголю, Э.Гофману, И.Бродскому, П.Гогену, С.Дали, И.Мощарту и др. Мистика переплетается с реализмом, подлинные события с театральным действием и сновидениями. Мало того, как в сказке «Золотой ключик» А.Толстого, автор укрывается с карликом-носом в сказочном убежище...

Представляется, что поэт осознанно уходит от реализма, создавая свой фантастический, мистический и стихийный мир с единственной целью блеснуть виртуозной способностью владения словом.

Поэта захватывает поток жизни, и он, увлеченный волшебством речи, торопится сказать все, что приходит в голову импрессионистского и модернистского, не заботясь о смысле сказанного: “мне нужно выговориться, вот что...”

И, как последователь этих эстетических принципов, он посвящает стихи одному из своих кумиров – американскому поэту Алену Гинзбергу:

**В Сан-Франциско бродит призрак.
Этот призрак – Ален Гинзберг.**

Г.Шульпяков старательно уходит от реализма, даже в тех случаях, когда тяга к родине и воспоминания о ней тревожат его душу:

**написать бы про город, мой город, которого нет,
про ладони твоих площадей в голубиных наколках,
написать бы про то, как бежит под ногами про-
спект,
и кремлевские звезды горят на рубиновых елках,**

В поэзии, как и в других искусствах, многое зависит от интеллекта, нравственной чуткости поэта. Представленные читателю стихи, несомненно, принадлежат перу самобытного и глубокого художника, который терпеливо и вдумчиво отыскивает собственные пути в поэзии, решает задачу – быть самим собой. В этом смысле очень знаменательно лирическое стихотворение “Я о том же...”, наполненное тонкими, зачастую трагическими переживаниями лирического героя.

Пожалуй, с особым блеском поэтический талант и живописная манера автора проявились в поэме “Тбилисури”. Текст произведения изобилует изысканными наблюдениями за жизнью грузинской столицы, насыщен метафорами, гиперболоми, аллитерациями и увлекательным сюжетом.

Думаю, что тройчане и те, кому впервые доведется прочитать подборку стихов Г.Шульпякова, получат подлинное удовольствие от встречи с творчеством уже заявившего о себе в литературном мире интересного современного поэта.

ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ЛЮДИ

Уважаемые читатели!

Журнал "Троицк литературный" будет публиковать информацию о событиях, произошедших или приключившихся в литературной жизни г. Троицка. Ирина Шлионская, автор ряда книг о таинственных и мистических местах земного шара, получила приглашение поработать над документальным фильмом в рамках телевизионного проекта "Городские легенды". Первый фильм, "Дом на Набережной", должен выйти в эфир в сентябре этого года на канале ТВ-3. В этом номере мы публикуем рассказ Ирины об участии в съемках.



И. Шлионская в кадре

Ирина ШЛИОНСКАЯ

КАК Я БЫЛА ЗВЕЗДОЙ ЭКРАНА

(В статье использованы строчки из стихотворения Б. Пастернака «Гамлет»)

«Гул затих, я вышел на подмости...»

Свершилось! Меня пригласили на Центральное телевидение! Продюсерша компании «Зима Продакшн» решила, что автор многочисленных опусов о призраках, аномальных зонах и параллельных измерениях – самая подходящая кандидатура для роли консультанта-парапсихолога в программе «Городские легенды» на «настоящем мистическом» канале ТВ-3. Более того – мне предложили самой писать сценарии!

Первый фильм посвятили знаменитому московскому Дому правительства на ул. Серафимовича, 2 – Дому на набережной. Сценарий писали вдвоем с Евгением, лет тридцать проработавшим на ТВ. Но даже под его чутким руководством пришлось раз пять переделывать текст – не нравилось то продюсерам, то каналу... Так, роковой Дом сначала превратился у нас в гробницу, построенную по хитрому замыслу магов Сталиным для

уничтожения своих врагов, а потом в пространственно-временной портал, через который вождь народов мечтал проникнуть в другое измерение, но ему обломалось...

«Я ловлю в далеком отголоске...»

И вот, наконец – долгожданные съемки.

...Сойдя с троллейбуса, долго ищу переход на противоположную сторону. На мобильный поступает обеспокоенный звонок от Риты, директора съемочной группы. Меня ждут. В конце концов, спускаюсь под мост и вижу желанный светофор. Напротив маячит Театр Эстрады. Я, как всегда, заблудилась в трех соснах... Первая аномалия...

Вся съемочная группа состоит из четырех человек. Возглавляет ее мой соавтор по сценарию Евгений. Хрупкая девушка Рита отвечает за организационные вопросы. Остальные двое – молодой веселый оператор

ХРОНИКА ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ, АНАЛИТИКА, РЕЦЕНЗИИ, ИНТЕРВЬЮ, БИБЛИОГРАФИЯ, ПЕРСОНАЛИИ

Паша и бородач средних лет, имени которого мне так и не назвали, – за аппаратуру.

Передо мной снимают интервью со Шведовым – директором НИИ прикладной эзотерики. Он в прекрасной форме, уже успел этим летом где-то загореть... Я с завистью смотрю на его худощавую фигуру, качающуюся с микрофоном. Мне с комплекцией не повезло: на улице довольно жарко, и день предстоит нелегкий... Честно говоря, жаль и членов съемочной группы, которые торчат здесь с самого утра.

Не успеваем мы познакомиться с Ритой, как она задает мне вопрос. Кто-то сообщил ей, что я – автор нашумевшей книги «Числа и судьбы», и мою собеседницу очень интересует, можно ли отмечать 40-летний юбилей. Оказывается, она старше меня, ей скоро уже 40! А по виду можно дать лет на 12 меньше... По поводу чего и делаю ей комплимент. 40-летие на всякий случай советую не отмечать широко...

Пока мужчины увлечены съемками, мы с Ритой успеваем подружиться. Я прошу ее поснимать меня моим фотоаппаратом, когда буду в кадре. Она соглашается, но предупреждает, что фотограф из нее никакой. Я успокаиваю новую знакомую, объясняя, что снимки нужны любительские, для рассылки друзьям. Показываю, как пользоваться аппаратом...

«На меня наставлен сумрак ночи...»

Минут через пятнадцать со Шведовым покончено, и телевизионщики принимают за меня. Мы перемещаемся в другое место, во двор. Здесь, к счастью, тень. Операторы устанавливают аппаратуру, а Евгений тем временем вводит меня в курс дела. Договариваемся, что я буду сначала читать текст комментариев про себя, а потом на память произносить их в кадре. «Боже, ну зачем я столько написала!» – мысленно восклицаю я. Сочинять байки легко, а вот повторить все это наизусть... Но идти на попятный уже поздно.

Мне пристегивают микрофон. Сначала все не так уж страшно. Мне объясняют, куда нужно смотреть: «на зрителя!» Роль зрителя играет Рита, ободряюще помахивающая мне со своего места рукой.

С первого раза я, правда, сбиваюсь, и Евгений предлагает повторить текст про магическое значение цвета стен Дома еще раз. Выходит «просто супер», как выражается Евгений.

Так дальше и работаем. Большие куски текста снимаем частями. Все равно потом смонтируют как надо. Нам мешают: то машина мимо проедет, то кто-нибудь подойдет и пристанет с вопросом: «А что это вы снимаете?»

Евгению приходит в голову гениальная идея – снять меня в движении. Я медленно иду прямо от камеры в сторону дворовой арки, возле бордовой иномарки останавливаюсь, внимательно смотрю вверх, на окна и балконы, затем продолжаю путь. Дойдя до арки, разворачиваюсь и возвращаюсь назад... С первого захода не получается: Евгений считает, что я шла слишком быстро, словно мне собирались «стрелять в спину». Зато со второго раза опять «супер»!

Первые 3-4 эпизода снимаем часа полтора. Жарко... Примера у съемочной группы сегодня почему-то нет. Его роль опять исполняет Рита, которая регулярно вытирает мне лицо салфетками и накладывает пудру –

дорогую, немецкую, купленную мной специально накануне съемок. Такое впечатление, что я уже скоро уже начну просто задыхаться под толстыми слоями этой пудры...

Делаем перерыв – и мы с Евгением и Ритой отправляемся на поиски загадочного 11-го подъезда, который не достроили из-за пожара и от которого, по преданию, остались только лестница и черный ход... Спрашиваем о нем у дворника, метущего тротуар, но молодой человек гастарбайтерского вида только пожимает плечами. Об 11-м подъезде он никогда не слышал.

Евгений неожиданно куда-то исчезает. Я делаю предположение, что он угодил в пространственно-временную дыру... Иначе куда бы ему деться? Мы с Ритой упорно пытаемся разыскать несуществующий подъезд. Между 10-м и 12-м подъездами устроилась какая-то контора с зарешеченными воротами. Мой взгляд упирается в нестандартное узенькое окошко. Может, это и есть 11-й подъезд?

Позднее выясняется, что Евгений все же отыскал с другой стороны дверь черного хода. Но комментарий относительно подъезда снимать решили под конец. А пока мы перебираемся в другое место. Это небольшая асфальтовая площадка у стены. Во дворе – раскидистые зеленые деревья, между ветвей со зловещими криками кружится воронья... Всем становится как-то не по себе, а я ощущаю какую-то вибрацию под ногами. Несмотря на мрачную репутацию Дома, в других местах не было ничего особенного, но здесь – явно что-то не так... Патогенная зона? Может, как раз под этой площадкой и лежат чьи-то останки – дом-то строили поверх заброшенного погоста! Евгений тоже считает, что место «нехорошее». Вот попали!

Чащу эту мимо пронеси...

Через пару минут у меня начинает болеть голова, и я думаю только о том, чтобы не хлопнуться в обморок посреди съемочного процесса. Перед съемкой очередного комментария с ужасом понимаю, что мозги напрочь отказывают... Читаю текст – и тут же начисто забываю, о чем речь... Пытаюсь собраться с мыслями и вспомнить, что написано в сценарии. Нужно сказать про какой-то проход или портал в иное измерение. Куда проход? Куда портал? Чем проход отличается от портала? На кой черт он сдался Сталину? У него что, других дел не было? Что там я насчет этого насочиняла в сценарии? Мысли путаются... Сталин бы точно сейчас приказал меня расстрелять...

Я растерянно замолкаю перед камерой. Но окружающие относятся к этому на удивление спокойно. Мы повторяем сцену еще и еще раз, до тех пор, пока мои слова не начинают звучать более-менее связно и логично...

Не иначе как некие зловредные потусторонние силы, присутствующие здесь, решили сорвать съемки! Но они еще не знают, с кем имеют дело! Неужто мне, матерой журналистке желтой прессы, признанному «специалисту» по барабашкам и всяческой чертовщине, их бояться?! «Парапсихолога в кадр!» – командует Евгений. В голове все мутится... Я вообще сомневаюсь в том, что смогу выдать из себя хотя бы слово. Но каким-то необъяснимым образом мне снова и снова удается собираться с силами и произносить комментарии в

камеру на автомате, да еще и повторять их, если что-то не устраивает Евгения. Например, слово «адекватно», по его мнению, нужно произносить через «э», а в слове «феномен» делать ударение на втором слоге... Ни один дефект моего произношения не остается незамеченным. А я и не задумывалась о том, что произношу отдельные слова неправильно! Растила-то меня бабушка с отцовской стороны, родившаяся на Смоленщине, на самой границе с Белоруссией, где жители говорили на каком-то немислимом диалекте... Но у Евгения, как он с гордостью признается, мама была филолог, и он точно знает, как надо! «Кто сказал, что будет легко?» – полушутя спрашивает он. «Никто!» – соглашаюсь я.

К тому времени, когда черед доходит до съемок 11-го подъезда, где, согласно моему сценарию, расположена «энергетическая дыра, которая, как воронка, впитывает в себя все живое» (надо же, какой пассаж я завернула!), я уже еле держусь на ногах. Должно быть, и другие тоже. А тут еще, как назло, то из ближайшего окна некстати доносится свист дрели, то машины мимо проскакивают на полном ходу... Внезапно ниоткуда, словно соткавшись из сгустившегося жаркого воздуха (прямо по Булгакову!), рядом с нами нарисовывается живописный рыжий субъект, облаченный, несмотря на жару, в полосатый разноцветный джемпер и красные тренировочные штаны... Он сообщает, что живет поблизости, и с горячностью начинает нести что-то невнятное... Из его эмоционального монолога ясно лишь, что незнакомец сильно раздосадован нашим появлением здесь. Настроен он весьма агрессивно, но когда ему советуют уйти и не мешать съемкам, не возражает и, видимо, трезво взвесив свои возможности – один против троих мужчин – тут же уходит. На алкоголика не похож, скорее – на юродивого. Может, и впрямь здесь живет... В несуществующем подъезде, который засосал его, а потом выдавил обратно? Или это тайный сотрудник ФСБ, следящий за магическим подъездом?

Съемки продолжают. На этот раз мне предстоит не просто произнести текст, но еще и жестикулировать – показать рукой в сторону пресловутого 11-го подъезда, чтобы зритель понял, что черный ход – он

именно тут... Сил никаких... Кое-как тычу ладонью куда-то вбок, в сторону неприметной железной дверцы, затерявшейся в зелени... Снято!

Но продуман распорядок действий...

Последние эпизоды со мной снимаются опять же во дворе, прямо перед крыльцом какого-то офиса, откуда выглядывают любопытные сотрудники, активно интересуясь происходящим. Я чувствую, что еще немного – и повалюсь замертво прямо на глазах у съемочной группы и зевак. Не дождетесь! Мне даже удается вполне прилично отбарабанить текст о том, что «дом стоит на границе прошлого и будущего, и поэтому не только мы видим призраки, но и они наблюдают за нами и активно вмешиваются в нашу жизнь»... Надо же, какая я, оказывается, умная! Зрители еще решат, что я и вправду парапсихолог!

Съемки заканчиваются. Телевизионщики смотрят на меня с явным уважением. Евгений произносит булгаковское: «Королева в восхищении!», и все дружно аплодируют. Я с гордостью думаю о том, что, должно быть, не все выдерживают это испытание столь достойно, как я...

И неотвратим конец пути...

Евгений и Рита провожают меня до угла Дома и показывают, в какой стороне кинотеатр «Ударник», возле которого расположена троллейбусная остановка.

Какое счастье! Наконец-то все позади! Я умудрилась не только не упасть в обморок и не закатить истерику, проведя три с половиной часа на жаре под прицелом телекамеры, да еще и наговорить умных фраз в микрофон!

Когда автобус уже подъезжает к остановке в Троицке, разражается бурный ливень с грозой. Молнии скрежещут так близко, что кажется – вот-вот испепелят нас, пассажиров... Что если это неспроста? Злятся на меня высшие силы. Не угодила я им своими парапсихологическими телевыступлениями... Ну и ладно, зато я попала на ТВ!



На снимке – И. Шлионская и сценарист Е. Пахоменков читают сценарий

ПЕРСОНАЛИИ

ШУЛЬПЯКОВ ГЛЕБ ЮРЬЕВИЧ родился 28 января 1971 года в Москве. Окончил факультет журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова. Известный поэт, эссеист, прозаик, путешественник. Писал многочисленные литературные эссе и заметки для московской периодики, переводил с английского, в том числе поэзию. Автор книг стихотворений «Щелчок» (2001 г.) и «Желудь» (2007 г.), сборников путевых очерков «Персона Ggarra» (2002 г.) и «Дядюшкин сон» (2005 г.). Получил поощрительную премию «Триумф» в области поэзии (2000 г.). Занимался драматургией. В 2004 году в Театре Маяковского была поставлена пьеса Г. Шульпякова «Карлик». Пьеса «Пушкин в Америке» принесла ему звание лауреата конкурса «Действующие лица-2005». Первый роман Шульпякова «Книга Синана» вышел в 2005 году, второй – «Цунами» – в 2008-м. Ныне Глеб Шульпяков возглавляет литературный журнал «Новая Юность». Живет в Москве.

С турецким писателем
Орханом Памуком

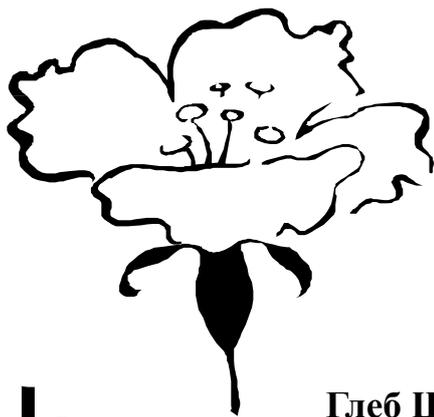




С женой Екатериной

С сыном Петей





СОДЕРЖАНИЕ

Глеб ШУЛЬПЯКОВ

СТИХИ

1 стр.

<i>Из Книги «Щелчок», 2001 г.</i>	1 стр.
SAMDEN TOWN	1
“с черного хода в литературу”	2
“Я о том же, я просто не знаю, с чего мне начать”	2
<i>Л.Л.</i>	3
"ТАМАНЬ"	3
“В тишайшем городке с печальной лужей”	4
“Как Суворов пехоту в классический город”	5
<i>Н.Б.</i>	5
ГРАНОВСКОГО, 4	5
“В Сан-Франциско бродит призрак”	10
“Квартет Шостаковича, № 14. "Вид из окна... ”	10
“Нынче утром я узнал о смерти великого Тэда Хьюза”	10
“Шестьсот Двенадцать, Два Нуля”	11
“написать бы про город, мой город, которого нет”	11
"ТБИЛИСУРИ" I I	

<i>Из Книги «Желудь», 2007 г.</i>	15 стр.
“неввысокий мужчина в очках с бородой”	16
“в зябких мечетях души бормочет”	16
“как долго я на белой книге спал”	16
“мокрый флаг на великой стене”	16
“...немногих слов на лентах языка”	16
“когда не останется больше причин”	16
“на дне морском колючий ветер”	16
“низко стоят над Москвой облака”	16

<i>А.К.</i>	16
“эта музыка в нас, как вода подо льдом”	16
<i>Афанасию Мамедову</i>	17
ЗАПАХ ВИШНИ	17
«МУРАНОВО»	19
<i>Д.Т.</i>	20
“царство небесное”	20
“четыре дня над городом фрамуги”	20
“Москва! Несгораемый ящик”	21
“Под Рождество на Чистопрудном”	21
“Но что-то не сходилось в этот вечер”	21
“Смотри – как выросла за лето”	22
<i>А. Л.</i>	22
“... дерево. Оно”	22
“В ночь на субботу шел последний снег”	23
“Окликни меня у Никитских Ворот”	23

<i>Из Новых Стихов</i>	24 стр.
“человек на экране снимает пальто”	24
“прозрачен как печатный лист”	24
“как лыжник, идущий по снегу во тьму”	24
“человек состоит из того, что он ест и пьет”	24
“гуди, гуди – мой черный ящик”	24
“во мне живет слепой, угрюмый жук”	24
“молчит моя стена внутри”	24
ДЖЕМА-АЛЬ-ФНА	24

В ПОИСКАХ «РОДОСЛОВНОЙ ДУШИ»

(интервью Ирины Шлионской с поэтом Глебом Шульпяковым)

26 стр.

Ирина ШЛИОНСКАЯ

С ЧЕРНОГО ХОДА В ЛИТЕРАТУРУ...

(статья)

29 стр.

Анатолий КОРОБОВ

ТАК ГОВОРИЛА МНЕ МОЯ УНДИНА...

(статья)

30 стр.

Ирина ШЛИОНСКАЯ

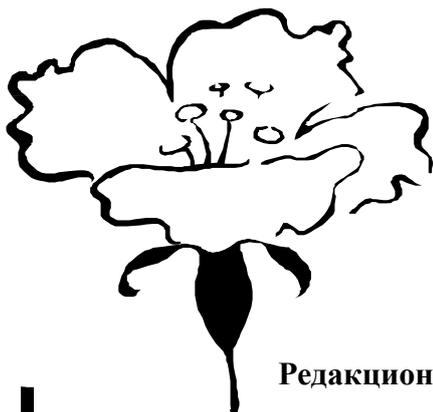
КАК Я БЫЛА ЗВЕЗДОЙ ЭКРАНА

(записки о кино и телевидении)

32 стр.

ПЕРСОНАЛИИ

35 стр.



~~~~~  
Литературно-критический журнал  
“Троицк литературный”

**Редакционная коллегия:**

Алексей Мильков [leomilk@yandex.ru](mailto:leomilk@yandex.ru)  
Ирина Шлионская [IShlion@inetcomm.ru](mailto:IShlion@inetcomm.ru)  
Анатолий Коробов 8-905-577-67-19

Литературное объединение г.Троицка собирается каждую последнюю среду в 18.00 в школе №1 им. Пушкина по адресу: ул. Школьная, 10 . Председатель ЛИТО Мильков Алексей Леонтьевич. Секретарь ЛИТО Елисеев Владимир Валентинович, тел. 51-70-35

**Редакционный совет:**

Владимир Бланк, директор ФГУ ТИСНУМ,  
Председатель Совета депутатов г. Троицка.  
Глеб Шульпяков, гл.редактор журнала  
“Новая Юность”.  
Татьяна Исаева, начальник Отдела культуры.  
Людмила Подорожная, директор библиотеки №1 им. Михайловых.  
Наталья Тимошенко, директор школы №1 им. Пушкина



Номер издан при содействии  
ФГУ ТИСНУМ и Совета депутатов г. Троицка.

Директор ФГУ ТИСНУМ,  
Председатель Совета депутатов г. Троицка  
**Бланк В.Д.**

-----  
Троицк: издательство “Тривант”, 2008 г.  
Печ. листов 3. Страниц 40. Тираж 100.